

Юрий Смирнов

# ТВОЙ ВЫСТРЕЛ — ВТОРОЙ

КОЛЛЕКЦИЯ  
Военных  
Приключений



Коллекция военных приключений

Юрий Смирнов

**Твой выстрел – второй**

«ВЕЧЕ»

2018

**Смирнов Ю. С.**

Твой выстрел – второй / Ю. С. Смирнов — «ВЕЧЕ»,  
2018 — (Коллекция военных приключений)

ISBN 978-5-4484-7571-9

Бывшему красноармейцу Ивану Елдышеву приходится отражать натиск казачьего отряда, пытающегося захватить эшелон с хлебом. Признанный годным к нестроевой службе Роман Мациборко вступает в смертельно опасную схватку с хорошо организованной преступной группировкой. Александру Токалову и его коллегам предстоит расследовать жестокое и бессмысленное убийство... Гражданская война, Великая Отечественная, восьмидесятые годы двадцатого столетия... Что объединяет людей, живших в столь разные времена? Только одно: все они служат в милиции, стоящей на страже Закона, и честно выполняют свой долг.

ISBN 978-5-4484-7571-9

© Смирнов Ю. С., 2018

© ВЕЧЕ, 2018

## Содержание

Переступить себя	6
Глава первая	6
Глава вторая	8
Глава третья	10
Глава четвертая	12
Глава пятая	17
Глава шестая	20
Глава седьмая	23
Глава восьмая	28
Глава девятая	33
Глава десятая	35
Глава одиннадцатая	39
Глава двенадцатая	40
Глава тринадцатая	42
Глава четырнадцатая	45
Глава пятнадцатая	47
Конец ознакомительного фрагмента.	48

# **Юрий Смирнов**

## **Твой выстрел – второй**

© Смирнов Ю. С., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

# Переступить себя

## Глава первая

Год тысяча девятьсот восемнадцатый прожили.

Его последний декабрьский день тек на диво тихо и светло. А в окраинной городской слободе и совсем весенняя благодать: бьет с крыш обильная капель, плавится на припеке снег, озабоченно чирикают под стрехами обманутые теплом воробьи. Домовладельцы, словно коты, вылезли на солнышко, разморенно греются на лавочках и в ожидании заветного часа, когда можно сесть за новогодний стол, толкуют про мировую революцию. Слобода заселена перекупщиками калмыцких лошадей, живет крепко, по единственной ее улице плывут запахи мясных пирогов, свежeweыпеченного хлеба, а то шибанет в нос острая самогонная струя. Смелеют языки, примеривают мировую революцию к слободской жизни и так и этак, – как примеривают насильно всученную обнову. Но как ты ее ни крути, как ты ее ни примеривай, жмет она слободскую жизнь до невозможности, а у горла намертво перехватывает. И висят над лавочками вздохи:

– Хороша советска власть...

– Ох и хороша!

– Хороша-то хороша...

– Да чтой-то долго, граждане, протянулась!

– Нонешний год – чирк! – и жизнь нам на тринадцать дней подсократила. Легли спать в ночь на первого февраля, утречком проснулись четырнадцатого февраля. Вот анчихристи! Не знаешь теперя, по-каковски и времю считать.

– То ли будет! Нашел об чем тужить...

Слободская улица выбегает на солончак, а солончак пылает под солнцем бело, нестерпимо – нельзя смотреть. И в ту сторону не смотрят, глаза берегут, глаз перекупщику нужен острый, цыганский. А глянули – обомлели: мировая революция – вот она, стоит перед ними босая, в растерзанных малиновых галифе, в женской шали, перехваченной крест-накрест патронными лентами с пустыми гнездами. Из-под островерхого, невиданного доселе шлема у мировой революции бездонно и жутко чернели провалы глазниц, только их и можно было заметить на объединенном голодом лице.

– Что это? – спросил странный человек, всасывая глазами сытых. – Плохо я вижу.

Из белого пламени солончака выползал, вытягивая за собой повозку, мосластый верблюд. За ним шли люди. Люди шли? Тени шли... Брело, спотыкаясь и падая, человеческое страдание.

– Что это? – нетерпеливо поднял голос вышедший первым. – Что?

– Форпост, – сказали ему. – Астрахань, мил человек.

– Астрахань, – повторил он, мгновенно слабея голосом. – Дошли.

И упал.

Самый зоркий разглядел, предупредил шепотом:

– Беда, граждане... Вши на нем. Массья!

И попятись от него, как от прокаженного. Слобода затворилась и в ужасе смотрела, как из солончака, словно из преисподней, выползала Одиннадцатая армия. И не знали сытые, что им придется месяцами смотреть на это шествие, потому что оно растянулось на все необозримое пространство ногайских степей. А там, у далеких предгорий Кавказа, эта армия, отступая, еще дралась. Дралась, иссушенная голодом, раздетая, безоружная, сжираемая тифозными вшами. За мировую революцию дралась. Страдала за нее, как никто, нигде, никогда не страдал.

Рабочая Астрахань открыла перед ней двери. Затянув ту же пояс на тощем животе, Астрахань вместе с армией заметалась в тифозном бреду на двадцати тысячах лазаретных койках. И на этих же койках, чуть пересилив тиф, Астрахань вместе с армией стала умирать от соленого селедочного супа. Лазареты уже не требовали медикаментов, ибо что медикаменты без хлеба? Хлеб... Хлеб... Без него не отстоять город от деникинцев, без него не поднять на ноги армию, начавшую выбредать из солончаков.

Так прожили тихий восемнадцатый год.

Последний декабрьский денек его был смят на исходе свирепым бураном. С лютой улыбкой входил в город гибельный год девятнадцатый.

## Глава вторая

Из степи Иван Елдышев вышел на своих ногах вместе с побратимом, лихим рубакой Васькой Талгаевым. На калмыцкой арбе, впрягшись в нее вместо лошади, вывезли они пятерых беспмятных товарищей – все, что осталось от их эскадрона. Тянули арбу не силой – ее не было! – тянули надеждой, что там, в Астрахани, все готово для встречи: госпитали и медикаменты, еда и обмундирование. Но затворился Форпост, степной страж города, никто здесь не встретил, не сказал, куда поместить тифозных и раненых, где притулиться ходячим. И тогда слово «измена!» разодрало мерзлые губы Ваське Талгаеву, выхаркнулось с кровью, с матом, клацнуло затвором винтовки... И несдобровать бы сытым, сидевшим на скамеечках, потому что из солончака уже бежали к Ваське тени, которые еще могли бежать. Иван встал перед Васькиным штыком, уперся в него грудью, и так они стояли, покачиваясь, сминая в себе гнев. Подбежали трое или четверо, и один из них, молча, в боевом выпаде, взял бы Ивана на штык, но Васька отбил удар. Грохнула Васькина винтовка, и ушла в небо пуля, за которую было заплачено пять рублей золотом своему же армейскому интенданту. Измена, измена... Эх, и горька же ты, неутоленная месть! От неожиданности выстрела и слабости тела упал тот, кто хотел заколоть Ивана, но снова тянулся к выроненной винтовке. Чья-то босая нога наступила на ствол, чей-то голос прорыдал:

– Что же делать, товарищ?

– Больных и раненых, – сказал Иван, – по двое в каждый дом. Ходячим быть при них. Ждать меня.

– Не пустят, товарищ... Добром не пустят.

Иван глянул туда, откуда пришел, и заледенел сердцем. Сказал:

– К женскому полу оружия не применять.

С тем же холодом под сердцем он ждал выстрелов, пока вместе с Васькой сгружал с арбы своих эскадронцев и вносил их в дома к испуганным хозяевам. Но обошлось... Васька Талгаев притянул его к себе за отворот шинели, покачнулся, сказал: «Ваня...» – и больше ничего не смог сказать внятно, сполз на пол и понес околесицу, полыхая жаром. Может быть, поэтому и сорвался Иван в кабинете военного инструктора губкома партии товарища Непочатых, а еще потому, что на столе у товарища Непочатых дымился стакан чая, лежал ломоть хлеба с кусочком сахара на нем. Тепло, чай, сахарок... Грохнул Иван кулаком по столу, по каким-то бумагам, и на верхний лист от удара сыпанули из рукава шинели мелкие рыжие вши. Товарищ Непочатых, совершенно не слушая Ивановых гневных слов, скоренько скомкал лист, положил его в пепельницу и поджег. А затем начал крутить телефонную ручку, поднимая по тревоге какой-то санитарный отряд, изредка прикрывая ладонью трубку и спрашивая Ивана: кто, где, сколько? Иван отвечал, но отвечал как в тумане, погружаясь в него все глубже и глубже. Усталый мозг лишь временами отмечал: вот они с товарищем Непочатых едут в пролетке по ледяной Волге на Форпост, вот санитары выносят Ваську Талгаева на носилках из дома, и его, Ивана, тоже кладут почему-то рядом с ним на подводу, вот его моют в ванне, а вот он просыпается и ест, и снова просыпается и ест... И наконец он проснулся и спросил у медсестры, а где же товарищ Непочатых, и с этого мгновения, поймав ее удивленный, непонимающий взгляд, Иван снова вошел в обыденное время, которое потекло так, как и положено ему течь от века.

Где подводой, а где пешком добрался Иван до родного Каралата. Во внутреннем кармане шинели лежали у него два документа. Первый – отпуск на три дня, второй – приказ начальника губмилиции Багаева о назначении его, Ивана Елдышева, начальником Каралатской волостной милиции. А еще был устный приказ того же Багаева: сразу же после трехдневного отпуска Ивану надлежало явиться в Астрахань для участия в секретной операции. А в какой именно – этого Багаев ему не сказал.

Что ж, явимся... Явимся!

В родном Каралате Иван Елдышев не был почти пять лет.

## Глава третья

До землянки своего родного дяди по матери Иван дотопал поздним вечером. Дядю тоже звали Иваном, а фамилия у него была Вержбицкий, польская фамилия. Когда-то в Каралат был сослан на вечное поселение польский шляхтич, и растворил он свою голубую кровь в красной мужичьей... Дядька сидел за столом, раздирая руками вяленого леща. Хлеба на столе Иван не заметил. Сотни раз мечтал он, как вернется домой, как встретит дядю, – и вот встретил его, встретил не так, как мечталось, не было праздника в этой встрече, а сердце все равно сжалось, повлажнели глаза. Дома он, дома, и дядька жив, только усох маленько.

– Чего стоишь, служивый? – спросил Вержбицкий. – Раздевайся и садись к столу. Да поздоровкайся, коли добрый человек. Аль немой?

Иван прислонил винтовку к стене, снял шинель, стал стягивать сапоги. На столе тоненько светил каганец. Иван разувался в полутьме, присев на высокий порог.

– Ваня, – растерянно сказал дядя, взглядевшись. – Это ты, што ли? Ты ж помер, Ваня! Еще при царе...

– То при царе, – сказал Иван, – а теперь иная статья. Всех, кто при царе отдал богу душу, революционная власть назад отзывает. Старый ты хрен, родню не признаешь...

– Ванек, милый ты мой! – кинулся к нему дядя. Не умея ласкать, ворошил волосы, лапал лицо. – Живой, мать твою! Вот радость так радость... Ну, держись теперя!

– А кому надо – держаться-то?

– Это я тебе растолкую. У нас тут, племяш, такие дела! Я, знамо дело, в большаки записался и в коммуны вошел. Осенью отпёр туда всю снасть, бударку сдал. Я без тебя малость разжился было...

– Жалко небось? – спросил Иван, поглаживая его костлявые плечи.

– А чего жалеть, Ваня? – всхлипнул дядя. – Али ты меня не знаешь? Об тебе вот я жалел, когда ты погиб. Бумага в волостное правление приходила. Ну, думаю, один как перст остался. Попу нашему молебен заказал, уж прости ты меня, недотепу. После молебна выпили с ним крепко, сказать проще, напильки в стельку и разодрались под конец через тебя же, через твою светлую память.

Вержбицкий отстранился и, глядя племяннику в лицо, улыбнулся виновато:

– Об чем балабоню, дурак старый? Весь ум от радости незнамо куда делся. Проходи, садись. А я попытаюсь жратвишки какой-нибудь достать.

– Ничего не надо. Хлеба мне дали, консервов, бутылку водки. Давай истопим баню...

– И то, – легко согласился дядя, и за этой затаенной радостью, что не надо бегать по селу, выпрашивать у кого-то хлеба и продуктов, чтобы накормить служивого, почудилось Ивану грозное дыхание голода.

Вержбицкий оделся и, собираясь выходить, вдруг строговато спросил:

– Вань, а ты чей будешь? Кому баню стану топить?

– Не пойму тебя...

– Ты в какую партию вошел?

– А без партии тут нельзя? – Ивана забавляла серьезность дяди.

– Ни в коем разе, – убежденно сказал Вержбицкий. – У нас их шесть!

Маленький он был, встопорщенный, как воробей, и лицо его еще от слез не отвердело. Но слова были тверды:

– У нас тут так, Ваня. Али мы, большаки, тебя захомотаем, али эсеры тебя заарканят. Меньшаки, эсдеки, кадеты, анархисты тоже, знаешь, дремать не станут. И пять штук толстовцев есть, твоих идейных разлюбезных братцев.

– Хватит, хватит, старый, – миролюбиво сказал Иван. – Ты мне еще то в вину поставь, что я материну титьку сосал. Ишь, политики... Был Каралат, стал маленький Питер.

– А все ж таки? – стоял на своем дядя. – Давай, определяйся зараз. А то я такой: с идейным чужаком, хоть он мне и кровная родня, не то что водку пить, а и... рядом не сяду. Баню, конечно, истоплю, так и быть. Мы, большаки, тифозную вшу не любим, мы противу нее боремся телесной чистотой и душевной сознательностью. Вша для нас ярая контрреволюционерка, чью бы кровь она ни сосала. Так что баню я тебе истоплю.

– Топи жарче, Иван Прокофьич, – улыбаясь, сказал Иван. – Не ошибешься.

– То-то! – повеселел Вержбицкий. – Сердце чуяло: наш ты человек. Не мог, думаю, Ванька забыть, как с дядькой бедовал, и откатнуться от мировой революции. А вспомнил про твой Егорий, его к нам в волостное правление прислали – и крест твой геройский меня смутил. Ты, видать, царю служил на совесть.

– Отечеству служил. Отечеству, дядя.

– Какому такому отечеству, дурья башка? – грозно спросил Вержбицкий и двинулся от двери на племянника. – Мне царское отечество – тьфу! – а не отечество. Товарищ Непочатых, который приезжал к нам от губернской партии большаков и в ячейку нас записывал, всех предупреждал: мол, на вопросе о войне и мире, мужики, не скурвитесь, а держитесь стойко.

– Стоп! – сказал Иван. – Этому царствию не будет конца... Ты мне баню истопишь, дядька?

– Эх, племяш, – вздохнул Вержбицкий, – жестокий ты стал человек. Когда ты помер, я, бывало, по всем ночам с тобой беседую душевно, что и как объясню, глядишь – и самому вроде понятно. Во мне слова открылись, так и прут... А теперь ты мне вживе рот затыкаешь. Обидно.

Иван подошел, приобнял его костлявые плечи, сказал ласково:

– У нас с тобой теперь на все время будет. Очень я рад, что жив ты и здоров.

– Это уж так... Кровь – она свое скажет. Пойду топить баньку.

Иван сел за стол, огляделся. Взял разодранного леща, понюхал – пахнуло рапой, мертвыми запахами высохшего ильменя. «Дома, – подумал Иван – я наконец дома. А дядька-то... Заговорил-то как... Старая жизнь и тут покачнулась, язви ее...» Он уронил голову на руки и уснул.

## Глава четвертая

Восьми лет Ванька Елдышев остался круглым сиротой. Вержбицкий, бобыль и самый последний в Каралате бедняк, взял его к себе. Прокуковали дядя с племянником до зимы, а зимой Ивану Вержбицкому приспела пора идти в море на подледный промысел рыбы. С кем оставить парнишку? Хоть женись... Тут-то и подвернулся каралатский поп Анатолий Васильковский, пожелал он взять Ваньку к себе на прокормление и воспитание. Хочешь не хочешь, а отдавать надо. Отдал Вержбицкий попу племянника.

Отец Анатолий был личностью в селе примечательной. Хотя бы потому, что при невеликом росточке имел восемь пудов весу. Мосластому каралатскому люду это было в диковинку и гордость: вот, мол, как попа своего содержим! Из других качеств батюшки следует отметить, что жил он широко, весело и небезгрешно. И великий политик был: умел потрафлять как богатому Каралату, так и нищим его окраинам – Бесштановке и Заголяевке. С бесштановцев и заголяевцев денег поп за требы не брал, что среди духовенства являлось делом не поощряемым. Так что поп был своего рода либерал... Деньги для храма, причта и веселой своей жизни отец Анатолий сдирал с богатых прихожан – с дерзкой улыбкой, с подобающей к случаю поговоркой, а то и с текстом из Священного Писания. Но в накладе каралатские кулаки, перекупщики рыбы, прасолы, торговые воротилы не оставались. Им, корявым и сивым, льстило, что собственный их поп умен, учен по-божественному, начитан по-мирски: у него в доме была хорошая светская библиотека. А главное, отец Анатолий был тонким советчиком в делах земных, особенно в рыбных и торговых, имел в городе среди чиновной братии друзей, так что советы его превращались, как правило, в деньги. И не последнее дело – октава! Великолепная была у батюшки октава! После затяжных оргий, безумных скачек, во время одной из которых, выпав из тарантаса, насмерть убился рыбный торговец и промышленник Земсков, – после всех искушений дьявола октава эта приобретала убойную силу. Служил тогда отец Анатолий истово, ревностно, не комкая церковного чина, как обычно бывало, и октава его, насыщенная скорбью о несовершенстве человеческого рода, гремела, просила, грозила, обещала... Для причта тяжелы были службы в такие дни, потому что поп за малейшую неточность взыскивал жестко. А прихожане в такие дни валом валили в церковь.

Таков был человек каралатский поп Анатолий Васильковский, если говорить о нем кратко. Говорить же о нем надо потому, что Ванька Елдышев жил у бездетного попа до пятнадцати лет. И жил на неопределенном положении: то ли воспитанник, то ли работник без платы. Он исполнял работы на хозяйском дворе, но вхож был и на чистую половину дома. К тринадцати Ванькиным годам стал поп кое-что за ним примечать. Но как это выразить – то, что примечалось, – отец Анатолий не знал и не раз говорил в сомнениях:

– Ванька, нехорошо смотришь... Дерзко, непослушливо.

Иван молчал, глядя на него сонно... «Придумал я, – успокаивал себя поп и вздыхал: – Пью много, оттого и мню». Однако мнил... Мнилось ему, будто этот тихий, сонный, послушливый паренек однажды ночью подожжет дом с четырех углов и никому из дома не выбраться. Или же возьмет нож и всунет ему в горло. Еще мнилось, что за сонной пеленой таится у Ваньки в глазах какая-то грозная дума, которую он еще не осознал, но которая зреет тихо, далекая и нескорая, как плод в нерасцветшем бутоне. От таких догадок отдавало чертовщиной, отец Анатолий встряхивал гривастой головой и предлагал непоследовательно:

– А хочешь, я тебя в духовное училище помещу?

Ванька молчал, но молчал строптиво.

– А еще Толстого читаешь, – укорял поп. – Тому ли граф учит?

И еще два года молчал Иван Елдышев таким манером, не желая разговаривать с попом. Зато в свободное от работы время он не вылезал из поповской библиотеки, благо хозяин не

препятствовал. Надо заметить, что тут отец Анатолий дал большую промашку – с библиотекой. Пришел день, жаркий, летний, когда поп проспался после очередного кутежа и в бороде обнаружил записку, схваченную прядью волос. Развернул – прочел: «Поп, ты мне словами башку не задуришь. Не можешь ты правды знать. Ты правду и свою и чужую зарыл в паскудстве. А еще священник. Прощай! Ванька».

Отец Анатолий отстоял вечерню, а вернувшись домой, запил. Пил в одиночестве, чего с ним никогда не случалось. Попадья, робкая, истощенная ревностью женщина, прикинув ухом к тонкой двери, слушала, как поп бормотал: «Бог действует и чрез недостойных священников. Понял, Ваня? Бог действует и чрез недостойных священников! Уж лучше бы ты всадил мне нож в горло, сынок».

– Хоть бы ты подох, – ненавистно шептала попадья. – Ванька ушел, а мне куда скрыться. Куда?

После ухода от попа и до самой солдатчины Иван работал в селе на промыслах. Два рыбных промысла было в Каралате – Сухова и Саркисяна. По весне хозяева пригоняли сюда плашкоуты, набитые девками, бабами, детьми, мужиками с верховьев Волги. Люди сходили на каралатский берег, как на обетованную землю, выгружали пожитки, ошпаривали кипятком, вымаривая клопов, трехъярусные нары в бараках, и начинали свою удивительную жизнь. И было в той жизни вот что: была отчаянная, бешеная, безумная работа, когда у грузчиков трескались разъеденные солью пятки; была радость отдыха в пасхальный день, когда хозяин выдавал бабам сверх заработанного по двугривенному, а мужикам по полтине; были страстные молитвы в церкви и хула богу в кабаке; были песни, похожие на рыдание; любовь была с обманом и без обмана; была смерть, и было рождение – и все было, чем жив человек. Но все это исчезало, как только рыба по весне уставала давать жизнь другой рыбе и, растерзанная, скатывалась в море. Тогда затихал каралатский берег и все бывшее казалось наваждением.

Оглушенный, усталый, со скудным заработком в кармане, возвращался Иван в землянку своего дяди и жил здесь в одиночестве, ожидая единственного бедолагу-родственника с морского промысла. Первые несколько дней Иван спал почти беспросыпно. За высокий рост и раннюю силу его уже нанимали грузчиком, он таскал соль, катал тачки наравне с матерыми мужиками. И вот, в одиночестве, он вспоминал все, чему, покинув попа, был свидетелем и участником, и во всем этом не было правды, которую он хотел найти. Не видел он правды-справедливости под каралатским небом. Видел тьму, ненависть, зависть, ложь. Видел подводы, уставленные гробиками, – это летом десятками умирали от дизентерии дети, их везли в церковь, как дань богу. И доброта попа, который отпевал детей безвозмездно, была уже не доброта, а ложь. Видел свирепые драки верховых сезонников с местными заголяевцами и бесштановцами и не понимал, чего же не поделили между собой эти люди, одинаково нищие, одинаково темные. Однажды он попытался предотвратить такую драку и стал кричать им о братстве, о любви, о прощении обид; обо всем, что понял и узнал в учении великого Толстого, но слова его были смешны, нелепы и непонятны толпе. Обе стороны объединились и избili его в кровь... Каралатский исправник посадил Ивана в кутузку, до него уже давно доходили слухи, что парень ведет в казармах довольно странные речи, и он решил отправить его в город. Заступничество попа спасло Ивана.

– Все правду ищешь? – допытывался поп. – А может, хватит? Может, ко мне вернешься? Вдругорядь из кутузки не вытяну. С властью, дурень, не шутят.

– Я тебя не просил, – непримиримо отвечал Иван. – А правду искал и буду искать.

– Позволь спросить, какую? Чтобы все жили по Толстому? Но ведь и ты, правдолюбец, по Толстому не живешь. Он учит прощать обиды, а ты не то что обиды, – ты все мое добро к тебе простить не можешь, зверем на меня смотришь с детства. Где же справедливость? Нас только двое, и то меж нами нет справедливости. Откуда же ее взять для всех людей?

Иван тяжело молчал, ответить ему было нечего. Правда, которую он хотел найти, была беззащитна, как обнаженная рана.

– Теперь далее будем рассуждать, – бил в одну точку поп. – Ты зовешь к любви и братству меж людьми, и то же самое проповедую с амвона я. Меж нами нет разницы, Ванька, хоть я иду от Христа, а ты от Толстого.

– Есть разница, – сказал Иван. – Меня за мои слова в кутузку сажают, а вы великого писателя от церкви отлучили. Чем вам помешал, долгогривые? Постыдились бы!

– Начитался моих же книг да на мою же шею... Граф Россию опроститься звал, а сам имения небось не кинул. Так у нас, Ваня, всегда – и лучшие лукавы. Возвращайся ко мне, дурень, в люди выведу.

Разговоры с попом Иван передавал дяде, когда тот являлся с морского промысла. Сухонький и жилистый, Вержбицкий всплескивал руками, как птица крыльями, восхищался:

– Ах, поп, ах, голова! Распластал тебя крепко, как осетренка. Ты эту хреновину брось, Ваня, насчет братьев. Я с твоим папашей на Петра Земскова робил; твой папаша помер, и Земсков по пьянке убился, теперь я роблю на его сыночка, Сеньку Земскова. Тебя послушать, так должен я Сеньку любить, а за что, едрена-бабушка? Он из меня все силушки тянет и будет тянуть до самой моей распоследней кончины. Мозги у тебя набекрень, Ваня.

Иван и сам чувствовал неувязку в своей вере, однако лучше с такой верой жить, чем совсем без веры. Потому и держался за нее крепко. Говорил:

– Народ темен. Народ молится, водку пьет, зверствует. Каждый за кусок хлеба готов горло перегрызть другому, обмануть, продать. Надо показать народу, в какой мерзости он живет. Слово ему надо такое дать, чтобы он опомнился, огляделся и сказал бы: да что же это, мол, такое? Да как же это я подло живу и мог жить раньше? Слово надо народу дать, вот что.

Споры их кончались, когда иссякал заработок. Тогда они перебивались поденщиной, а ближе к зиме, когда Северный Каспий схватывало льдом, шли к Сеньке Земскову. Тот давал им снасти, коня, сани и посылал с ватагой таких же сухопайщиков, как они, в море на подледный лов. Однажды перед очередным уходом на промысел дядя явился в землянку возбужденный, сказал:

– Ванек! Ты про большаков слышал? Сегодня разговаривал с одним...

– А где он? Кто такой? – загорелся Иван. – Наш, сельский? Сведи!

– Дурень, – укоризненно сказал Вержбицкий. – Наши, сельские, еще рылом не вышли. Шустрый какой! Большаки, племяш, по тюрьмам сидят, а те, кто на воле, живут опасливо, первому встречному не откроются. Шутка ли, на власть замахнулись... Я так соображаю: ежели они не сбредут – народ за ними пойдет.

Помолчав, Вержбицкий продолжал:

– Ты нового конторщика Семина знаешь? Есть у него бумага, в которой все прописано – и про землю, и про воду, и про белый свет, как он трудящему народу должен принадлежать. И думаю я, Ваня, – он наклонился к сидевшему племяннику, грея его ухо шепотом, – думаю я, племяш, что этот Семин из них, из большаков. Пытать его начал на сей предмет, но он мне ни отчернил, ни отбелил, в сомнении оставил. О тебе сказал: пусть графа Толстого читает критически, не у него учиться теперь надо... Критически – это как, Ваня?!

– Не все на веру брать, а с рассуждением.

– Вот-вот! – радовался Вержбицкий. – Дельный мужик, в точку сказал. Зиму свалим, прибьемся к нему плотнее. Лады?

В ту зиму они чуть не попали в относ. Был февраль, на Каспии опаснейший месяц. С юга приходили гнилые теплые ветры, сшибались с северными и, бессильные, уходили назад. После буйства ветров великая тишина нисходила на Каспий, и ночами, когда креп мороз, с тоскливым шорохом осыпались на лед соленые туманы. Подо льдом в эти ночи совершалась потаенная работа. Вода уходила вслед за южными ветрами, образуя пустоты, и лед тяжело обламывался над

ними. Огромные поля на десять и более верст в полукружиях отплывали на юг со скоростью быстро идущего человека. Горе тем, кто оставался на них: их давно отпоют в селах, а они будут жить, страдать и ждать смерти на обсосанных водой ледяных островках. В опасный месяц февраль Ивану Елдышеву исполнился двадцать один год.

Не миновать бы дяде с племянником беды, да спас хозяйский жеребчик, которого Вержбицкий холил и берег пуще глаза – не в угоду хозяину, а для таких вот случаев. Был уже полдень, и ничего вроде не изменилось в мире. Под ногами – все тот же лед, над головой – голубенькое небо и солнце, бессильное и бледное, как бумажный лист. Вокруг, насколько хватал глаз, редкими точками чернели люди, лошади, бурты осетровых тушек. Ничего не изменилось в мире, а жеребчик уже почуял беду и забил копытом, и заржал тревожно. Но работники были далеко и не слышали, рыба на крючьях сидела густо, тут только успевай поворачиваться... Иван очнулся, когда кто-то цепко ухватил его за плечо. Обернулся, увидел оскаленную морду коня, прыгнул в сани. «Молись, Ванька! – крикнул дядя, когда сани подлетели к нему. – Ты молодой, безгрешный... Авось!» Иван молчал, потрясенный. Не жалкий вскрик дяди, не серое его лицо, стянутое страхом, потрясли Ивана, и не то, что они попали в относ – в гибель ему по молодости лет не верилось, – а то, что конь мог уйти один, и не ушел без людей! И эта запоздалая мысль пронзила его счастьем, видел он в этом какой-то знак для себя, для жизни своей, но какой и что таилось в нем, он не знал и думать об этом было некогда. Была безумная скачка по краю смолисто-черного развода, то расширяющегося, то сужающегося, – и наконец конь прыгнул. Задние ноги его не достигли ледяной кромки, передними и брюхом он пал на нее, завалился на бок и стал кричать. Иван не помнил, как очутился на льду, – наверное, его вышвырнуло из саней силой прерванного бега. Лежа, он схватил узду, потянул. Какое-то мгновение голова коня и голова Ивана были почти рядом, и парень видел, как из распоротого ужасом малинового зрака лошади текла слеза... А дядя, странно прихихатывая, бил ножом по гужам, по чересседельнику, высвобождая коня. Оглобли, как руки, разошлись в стороны, Иван вложил в рывок всю силу, конь тоже рванулся, встал на лед, всхрапывая.

– Все... – сказал Вержбицкий, когда они вытянули к себе сани. – Ванька, а? Это тебе не графа читать... Видал? Сучья жизнь, паскуда... Ни снастей, ни улова.

Таким он и запомнился Ивану – маленький, в ледяной одежде, с дымящейся, патлатой головой. И тогда Иван впервые укорил великого учителя, чья мудрость была бессильна под этим небом, в этой ледяной пустыне, в деревнях и городах, где жизнь одних была как светлый луч, а жизнь других глуха, беспросветна, и эту несправедливость, казалось ему, уже никогда и никому не перебороть. И пусто стало на душе Ивана, будто вынули из нее смысл, которым она жила, а новый не дали.

В августе того же года уходил он на царскую войну. К большевику Семину им так и не удалось притулиться, зоркое полицейское око углядело его и удалило из Каралата. Жизнь теперь не светила Ивану ничем, он в своем сознании отъединил ее от себя, как вещь, и не знал, что с нею делать. На войну – так на войну... Пьяненький дядя припадал к его плечу, орал грозные слова про германца, чья кость жидка наспроть русской... Плач висел над берегом и над приткнувшейся к нему кургузой баржой для рекрутов. Тут же, на берегу, отец Анатолий служил молебн, покрывая могучей октавой многоголосую людскую скорбь. В сопровождении причта он плыл в толпе, и люди на его пути преклоняли колени, ловили губами полы парчовой рясы, целовали, крестились вслед. Иные, обессилив, подолгу лежали в пыли. Солнце жгло немилосердно, жир грязными струйками стекал с насаленных волос баб, и лица их, обмякшие от горя и самогона, были страшны. Ладан густыми пластами лежал над толпой, и запах его был древен – древнее бога, которому его воскурляли. С иконы отчужденно и нежно взидала на расхристанных каралатцев Матерь Божия Приснодева Мария, а хор, то ликуя, то скорбя, выпевал испуганные слова, которым тысячи лет. И случилось вдруг что-то с душой Ивана, будто выросли у нее крылья и полетела она далеко-далеко... Сместилось время, смялось оно в

комок, прошлое стало настоящим, лишь вдаль страшилось взглянуть прозревшее око. Видел себя Иван не на каралатском берегу, а в дальнем – оком не достичь! – княжеском ополчении. И так же шли мимо монахи, и так же хор возносил в небо чистую молитву-слезу, синеглазая Дева глядела на людей и не видела их, объятая тревогой за младенца. И забыл Иван свою нищую жизнь, простил господину батоги и голод, и нет у него обид, нет злобы и страха раба – есть чисто поле, а в поле враг... Одно лишь помнит Иван: он и господин его – русские. Пусть господин на коне и в броне, пусть холоп пеш и открыт удару меча, пусть неравным счастьем одарила их при рождении родная земля, но то была их родная земля! И оба падут за нее в чистом поле, и трава пронзит по весне их тела, и смешаются они в прах, прибавив родной земле одну горсть. Твоя от твоих, плоть от плоти, кровь от крови – восстань же, душа, и умри честно за веру, царя и отечество... На каралатском берегу, в вое баб, в пьяных криках мужиков, в горе народа, душа Ивана Елдышева вновь обретала смысл жизни, короткий и точный, как удар штыка.

## Глава пятая

Выпарившись в бане, хватив с дядей по чарке за встречу, Иван проснулся на следующее утро по деревенским понятиям очень поздно, но зато совершенно здоровым. Дядьки не было, ушел, надо понимать, в свою коммуну. Ладно... Хватит разлеживаться, подумал Иван, и так в последние полторы недели только и делаю, что дрыхну. Три дня отпуска – это мне начгубмилиции Багаев дал, а не мировая революция. Она нашему брату отпусков не дает. Как там Васька Талгаев, друг разъединственный? Выкарабкается ли? Чуть на штык меня не взял, шутоломный. От штыка, правда, и оборонил. И это – ладно... Я теперь, друг ты мой Вася, при большой революционной должности – начальник волостной милиции. А что это такое и с чем это едят, ума не приложу, ежели сказать правду. Но задачу свою в текущий момент помню, Вася, твердо. Вчера вечером шел к дядьке главной улицей села – и что видел? Хоромы Левантовских стоят, как стояли, Земсковы – рядом, дед Точилин отделил, видать, внуков: три пятистенки пристроил к родовому рядку. А за Точилинами – поп, за попом – Болотов... Это как понимать? Живут не тужат, сволочи, вот как. Вроде на них пролетарской власти и нету. А дядька мой? Оратор! Кровососы живут не тужат, а он раздирает на ужин соленого леща, хлещет пустой кипяток и революционными лозунгами заедает. Да еще и рад, что поет правильно, соловей голопузый. Вот тебе и покачулась старая жизнь... Ни хрена она здесь, гляжу, не покачулась. Наша каралатская сермяга, до слов дорвавшись, не утопила бы революцию в них – вот какое опасение имею, Вася. А с другой стороны... Коммуну, чертяки, организовали, комячейка у них. Это что-нибудь значит? Или нет? Ни черта мы с тобой, Вася, мирную жизнь не понимаем. Как вперлись в четырнадцатом году в солдатскую шинель, так и... А надо, надо понять. Для чего сейчас и потопаем мы, Вася, к председателю волисполкома Андрею Васильевичу Петрову.

Петров знал Ивана мальчишкой, а позже, когда Иван ушел от попа, на промысле Сухова они вместе ломали хребты работой. Встретил как родного... Когда схлынула первая радость, угасли бессвязные вопросы и ответы, оба сели и закурили перед серьезным разговором. За селом потрескивали винтовочные выстрелы – там коммунары под командой военкома Николая Медведева обучались войне. Петров прислушался, сказал недовольно:

– Зря патроны жгут. Мог бы Медведев и штыковым боем ограничиться. А завернется дело – стрелять нечем.

– Как поглядеть, – не согласился Иван. – Если человек ни разу из винтовки не стрелял, он не врага – винтовку свою бояться будет.

Петров хмыкнул.

– Что я заметил, Ваня, – врасяг сказал он. – Как стал властью, сую нос куда и не следует. Вроде у меня одного голова, а у других капустные кочерыжки. Вроде я один соображу, а другой не сможет. Отчего такое дело происходит?

– Ты всегда этим отличался, Андрей Василич, – улынулся Иван.

– Верна-а! – хлопнул рукой по столу Петров. – Да и не привык еще... Нынче третья неделя покатила, как я на волостном престоле.

– А до тебя кто был?

– Эсер, господин Карнев. Ты, видать, забыл родимый Каралат? Напомню: наскрозь кулацкий! Мы, большевики, в нем в меньшинстве. Прямо хоть меньшевиками называй...

Иван темнел лицом, приподымаясь.

– Шутю, – быстро сказал Петров. – Шутю, Ваня!

– Ты ш-шуты, да н-не зашучивайся... С-смотри у меня... Я еще после степи не очухался, а у вас тут, говорят, тоже контра своя жирует. – Иван выругался. – Это ж надо, – сказал он, помолчав, – аж в голову ударило. Ты меня, слушай, зайкой сделаешь.

– Да-а... – ошарашенно протянул Петров. – Пришлось тебе, Ванек... А ведь я тебя другим помню.

– Вы с дядькой сговорились, что ли? Тот меня тоже графом Толстым попрекнул... Вот что скажи: как же тебя избрали, если Каралат не в наших руках?

– Голод, Ваня, меня избрал. Наши кровососы угнали скот в камышовую крепь, припрятали хлеб, рыбу, картоху, соль – и продают тайком втридорога. Когда дети пухнут, поневоле начнешь мозгами шевелить. Ну и мы тоже не дремали... Был Каралат не наш, стал теперь наш.

Задумался, помрачнел.

– Наш-то он наш, – сказал, – да не совсем... Ничего, будет наш. Вчерась, Ваня, решение приняли – начнем трясти толстосумов... Вот, гляди, – Петров придвинул Ивану список, – гляди, душа моя, вовремя ты подоспел... Левантовский, стотысячник, – этому полная экспроприация. Коммунарам, Ваня, весной на лов выйти не с чем и не на чем – на Левантовском в море и выйдем. Далее, Точилены... У этих хлеб возьмем.

– А есть? У нас ведь тут пахать и сеять негде.

– Опять забыл? Хотя что я... где ж тебе помнить. Тогда скажу: весной в семнадцатом годе поляя вода пришла страшная, размывала вал, топить стала промысла. А ночью было дело... Кинулись владельцы промыслов Сухов и Саркисян к старику Точилену – и что ты думаешь? Он стометровый проран мешками с мукой забил. А ты говоришь... Есть у них хлеб, Ваня, у всех есть, только найти надоть.

Прошлись по всему списку. Иван поднялся в радостном возбуждении.

– Ну, дядь Андрей! Прости, пожалуйста. Нехорошо было подумал про тебя, когда ты нас меньшевиками обозвал.

– Пошутить уж нельзя, едрена-вошь. Ты вот что, Ваня... Начнем прямо с ихней идеологии – с попа. Чтоб народ видел – сурьезно за дело беремся.

Петров пытливо глянул на Ивана.

– Проверяешь? – спросил Иван без обиды. – Я, товарищ председатель, тысячу раз проверенный. А через твою проверку перешагну – и не замечу.

– Ну-ну, – с хитринкой улыбался председатель. – Пишу мандат, Ваня. Попу даем срок неделю, и пусть выгуряется. Учитель Храмушин давно просит помещение под нардом, пьесы будет ставить, агитацию вести. И муку поищи. Есть мучка у батюшки, есть...

Написал, хлопнул печатью. Черно лег на бумагу царский двуглавый орел...

– Извиняй, товарищ Елдышев, – сказал предволисполкома, – свою еще не успели завести. А где их делают, печати-то?

– Поеду в город, закажу... Значит, так: беру пяток милиционеров – и к попу.

– Эка, быстрый какой! Откуда они у нас, милиционеры?

– Позволь, а как же...

– Ваня, – проникновенно сказал Петров, – средствами содержать милицию у нас нету. Ты будешь у нас и за милиционеров, и за начальника, для тебя паек как-нибудь наскребем. Не обессудь, чем богаты, тем и рады.

– Я-то что... А вот мы-то как? Гражданскую войну здесь начинаем – не шутка!

– Да так, потихоньку... – Предволисполкома, как помнил его Иван, и при проклятом царизме не шибко унывал. – Потихоньку-полегоньку, – продолжал Петров. – Комячейка, а в ней девять человек, – раз, комсомолы, а их шестнадцать, – два, остатние беспартийные коммунары – три. Меня учтем – четыре, тебя – пять, Николку Медведева – шесть.

– Хорошо, – повеселел Иван, – дислокация ясна. Вот и давай мне пятерых.

– Пятерых мало. И лучше пойти не сейчас, а вечером.

– Чуждую идеологию решил сокрушать под покровом темноты? Рабья душонка в тебе заговорила, товарищ Петров! Нет уж, пойдём сейчас. Возьму с собой дядьку, и ты троих дашь. Но таких, чтоб не дрогнули: к попу идем!

Петров послушал, как трещат за селом винтовочные выстрелы, сказал задумчиво:  
– Может, ты и прав, Ваня...

## Глава шестая

С Иваном пошли Джунус Мылбаев, отец и сын Ерандиевы, дядька.

В доме попа их встретили причитания и вой приживалок, обыкновенно тихих старушек. Набегал народ, глядел в окна.

– Цыц! Завыли... – пророкотал отец Анатолий. – Здравствуй, Ваня. Я рад, что ты жив.

– Здравствуй, гражданин Васильковский, – ответил Иван. – Решением волисполкома твой дом отбирается в пользу трудового народа. Прочти и распишись. На сборы и съезд дается тебе неделя. Излишки хлеба и мануфактуры предлагаю сдать добровольно.

При упоминании о доме и хлебе старушки заново начали подвывать.

– Цыц, кикиморы! – повторил поп, и они затихли. – Щель у меня в сердце открылась, Ваня, – пожаловался он. – Помру скоро. Бери все, ничего не жалко. Жизнь прошла – жизнь жалко.

– Ирод, – мстительно сказала попадьа, – ты обо мне подумал? А где жить будем, подумал?

– О тебе новая власть подумает, мать, – сказал смиренно Васильковский.

Попадьа попыталась было еще что-то сказать, она, по всем признакам, в последние годы осмелела, но Иван прервал:

– Где хлеб, гражданин Васильковский? Тоже зарыл?

– Искусил дьявол, – сокрушенно признался поп. – Пудиков триста зарыл. Полагал, вы наложите контрибуцию, а вы вон как – хлыстанули экспроприацией.

– Вот гад ползучий! – сказал старший Ерандиев. – Товарищ Елдышев, Ваня! Ты что, не чуешь – он изгаляется? Люди с голоду пухнут, ему веселье. Где хлеб зарыл? Если его подмочка прихватила – пеняй на себя, на рясу твою не посмотрю.

– Тимоша, – сказал отец Анатолий, – экий ты, право, неуважительный. Я твоих детей крестил, родителей, царствие им небесное, отпевал, супруге твоей вчера на исповеди все грехи отпустил.

– Ерандиев, уймись, – сказал Иван. – Помни, кто теперь ты есть.

– Помню и жалкую, – проворчал Тимофей.

Сохранять революционную законность было трудно. Голод не тетка, он ожесточил Бештановку и Заголяевку. Когда были вынуты мешки с мукой из обшитой досками ямы в саду и оказалось, что чуть ли не половина мешков подпорчена низовой водой, Ивану с товарищами пришлось спасать попа от самосуда обезумевшей толпы. Васильковский сразу как-то сник, сидел на табуретке, свесив голову и не обращая внимания на ругань Тимофея Ерандиева, который крыл его на чем свет стоит.

– А говоришь, ничего не жалко, – укорил отца Анатолия Иван. – Ни себе, ни людям... Этого я от тебя не ожидал.

Поп как-то странно поглядел на Ивана, с нежностью, что ли... От такого взгляда нехорошо стало Ивану.

– Ваня, – сказал поп. – Ты когда-нибудь думал, почему я взял тебя к себе, кормил, поил? Иван, застигнутый врасплох, молчал. И вправду, почему поп это сделал?

– Ничего тебе не скажу, раздумал, – ответил поп на его немой вопрос. – У дядьки своего спроси.

Ночью Иван спросил у дядьки. Тот, лежа на топчанишке, сказал легко:

– Тут такое дело, Ваня... Поп – он, как бы тебе выразиться поспособнее, мать твою любил... И, видать, сурьезное у них затеялось дело. Рясу хотел скинуть и все такое. Но моя сестрица вдруг от него откачулась. Я бы сам рад понять свою сестру, да где мне. Отец твой

был тюха, помянуть его не к ночи, а ко дню. Я бы на его месте гачи попу переломал да и сестрице плюх навесил...

– Тогда лады, – облегченно сказал Иван. – А то я уж было подумал... Этот чертов поп чуть опять мне голову не задурил.

– Тю! – отозвался дядя сонно. – Ты, брат, уже под стол бегал, когда у них это дело завязалось. И, чую, пробежал меж ими... Тебя, думаю, он взял в память о ней.

Утром они пососали леща, запили горячей водой и вышли из землянки. Около волисполкома ждали их отец и сын Ерандиевы, через минуту подошел и пятый член экспроприационной комиссии Мылбай Джунусов. Темнолицый, он за ночь стал исчерна-серым, шел тяжело.

– Что с тобой? Заболел? – спросил Иван.

– Плоха-а... Еда нету. Подыхаим, Ванька. Дети мой, Рахматка звали, ночью сдох...

– Умер, – сказал Иван, и горло ему перехватило. – Надо говорить – умер.

– Умер, – покорно повторил Джунусов.

Вчера ночью в волисполкоме составили список людей, кому будет выдана прогорклая поповская мука. Ту, которую не достала подмочка, а ее набралось под сотню пудов, отправят в город, госпиталям, армии. В составленном списке на выдачу подмоченной муки Мылбай Джунусов стоял первым, сам-десятый в семье. Сегодня его дети будут есть горькую мучную болтанку. Чтобы как-то приободрить Мылбая, Иван сказал ему об этом. Джунусов в ответ слабо качнул головой.

Муку, которую решено было отправить в город, с болью и кровью оторвали от себя... Двое членов исполкома, певшие явно с эсеровского голоса, яростно выступили против. «Это что же? – кричали они. – Отправим, а самим подышать? Где такое видано?»

Напрасно Петров тряс перед ними разнарядкой губпродкомиссара, напрасно говорил, что еще ни одним пудом волесть не отчиталась перед городом по разнарядке. «А почему мы им, а не они нам? – кричали несогласные. – Они-то нам что дают?»

Тогда военком Николай Медведев, дергаясь лицом, вынул маузер, сунул под нос самому крикливому и пообещал:

– К стенке поставлю. Пристрелю.

– Вот так мы и решаем политические разногласия, – сказал тот, кто был потише и от кого маузер был подальше. – Далеко пойдете, граждане большевики... Нас маузером пристращать легче всего, а народ? Народ не пристращаешь. Отправим муку – народ свою власть не поймет.

– Втолкуем, – сказал Петров. – Николай, спрячь ты свою пушку... Втолкуем народу, что мы не отдельная Каралатская волостная республика и что декрет о продовольственной диктатуре нас строго касается.

– Декрет тоже надо с умом исполнять, а не так – чтоб последнюю нитку с себя. Наши коммунары и до весны не дотянут – слягут.

– Ах, мать твою! – взъярился Вержбицкий (он тоже был членом волисполкома). – Это с каких же пор коммунары стали твоими? А кто против коммуны глотку драл? Не ты ли? Товарищ Петров! Андрюха! Ты запрети ему в коммуны шастать. Он туды зачистил, подколотную агитацию ведет, гад ползучий!

– Не ты меня избирал и не Петров. Меня народ избирал!

Иван сидел в сторонке, слушал, постигая мирную жизнь... Еще вчера он думал: много тратят слов его товарищи, не изошли бы паром. Но н-нет... Здесь слово – тоже оружие, да еще какое! Кинут свое поганое слово эти двое в голодную массу людей – и масса вспыхнет, отзовется и сметет свой же волисполком с лица земли. Как же! Не кто-нибудь, а своя власть, и не у кого-нибудь, а от голодных, нищих людей последний кусок хлеба отбирает. Город далеко, выползавших из степей тифозных красноармейцев каралатцы не видели, а здесь дети мрут... Иван окинул взглядом остальных членов волисполкома и прочел сомнение и неуверенность в их лицах. Лишь дядька был бодр и безогляден. Но дядьке что – он бобыль...

– Позвольте спросить, товарищи? – подал Иван голос из своего угла.  
– Я уж думал, ты язык проглотил, – сказал Петров.  
– Мой вопрос такой, что задать его я не могу в присутствии этих двух...  
– Выйдите на минутку, – сказал им Петров. – Мы тут своей фракцией побеседуем.  
– В случае заварухи, – сказал Иван, когда они вышли, – все ж таки сколько мы своих людей можем поставить под ружье?

– С полсотни, – ответил военком Николай Медведев, – а винтовок у меня двадцать четыре, да еще три у моих красноармейцев.

– А кулацкий Каралат?

– Человек двести, – сказал Петров, – и еще поболее сотни из тех, кого кулачье тайно подкармливает. А ты, Ваня, меня отбрил, когда я насчет нашего меньшинства заговорил. Теперь сам видишь... Нас, конечно, полсела поддержит, но как поддержит? Сидя по запечьям, охами и ахами.

– Вот! И вы, мои дорогие товарищи, все ж не убоились, начали кровососов трясти. Почему не убоились? Потому что позади нас город, а в нем – наша пролетарская власть. Покуда она наша – здесь ни одна тварь голову не поднимет явно, щипать из-за угла будут, это ясно. А падет наша власть в городе – нам здесь и минуты не продержаться, в клочья разнесут. И нам ли сомневаться, помогать или не помогать городу? Помогать, последнюю нитку отдать!

– Верно! – сказал Петров. – Дюже правильное у тебя слово, Ваня.

– Дядька! – повернулся Иван к Вержбицкому. – Ты что же это, а? В коммуне, оказывается, вражеская агитация на полном ходу, а ты молчал? И ты, товарищ Медведев... Маузером трясешь... Оружие не игрушка, обнажил – стреляй!

– Эка! – сказал Петров. – Охолони, Ваня, маленько...

– Я к тому, что вы должны постановить: за вражескую агитацию – под суд. Вы власть или не власть?

Позвали крикунов и большинством в два голоса постановили отвезти в город неподпорченную муку. Все это было вчера вечером. А нынче, чтобы не дать опомниться кулацкому Каралату, Иван хотел сразу же повести свою экспроприационную комиссию к Левантовскому. Но Петров нарушил его планы.

– Ваня, – сказал он, едва Елдышев со своей комиссией переступил порог волисполкома, – муку надо сегодня же отвезти. От греха подальше... Тебе все равно ехать в город – вот и отвезешь. Сдашь прямо в губпродком.

– А Левантовский? Слушай, им после попа роздыху давать никак нельзя. Смять их надо, ошеломить. На город надейся, сам не плошай. Не ровен час – и снюхаются.

– Ты меня глазами не жги! – рассерчал Петров. – Манеру взял! Я тебе в отцы гожуся... К Левантовскому сам пойду. Мы и без суровых твоих глаз понимаем, что отступать теперь некуда, попа нам все равно не простят. Для того я, – Петров улыбнулся с хитрецей, – и отправил тебя к нему первому. Чтобы, значит, в нашем брате, у кого остатняя рабья душонка, – тут опять ушмешечка скривила его губы, – мысляха какая опасливая уж боле не ворошилась. Понял?

– Вот это я люблю, дядь Андрей, – от души сказал Елдышев. – Тут я до конца с тобой.

– То-то же! – довольно заулыбался предволисполкома. – И мы не лыком шиты. Соображаем, что к чему!

## Глава седьмая

В сырой, загаженной плевками и окурками комнате сидел за столом управляющий складским хозяйством губпродкома и ужинал всухомятку куском хлеба и спинкой испеченной в золе воблы. Но не то было удивительно, что он ужинал, а то было удивительно, как ужинал. Невозмутимо он ужинал... Комната была забита матросней, солдатами, неопределенного вида штатскими – каждый тянул к нему мандат, с мандатом – требование на отпуск продовольствия для своей части, госпиталя, учреждения... Иные вместо мандатов вынули браунинги, наганы и маузеры, стучали рукоятками по столу, тыкали дулами в ужинавшего. Он устало отмахивал их от себя, как надоевших мух, и продолжал жевать. В комнате висел сизый махорочный дым, хриплый гомон и мат. Иван Елдышев продрался поближе к столу, посмотрел и отошел в сторону, не понимая, что тут происходит. Тут же его придавил к стене могучим плечом солдат.

– Видал? – захрипел он возбужденно. – Видал, браток? Склады закрыл, с утра нас тут гноит, а сам жрет, контра!

– С самого утра и жрет? – спросил Иван спокойно.

– Н-ну, как... Н-ну, не знаю, – малость опешил солдат, но тут же и выправился в своем праведном гневе. – Сам видишь – жрет! А у меня в госпитале двести тифозных. С чем к ним вернусь? С пустыми руками, браток, возвращаться мне к ним никак нельзя. Я так сделаю, браток, – он ткнул «смит-и-вессоном» в сторону ужинавшего, – две пули не пожалею, в каждое его стеклышко всажу.

– Ну и дурак, – сказал Иван устало.

– Што-о?

– Дурак, говорю, будешь. Тебе какой паек положен?

– Фунт хлеба и соленая вобла.

– Съел?

– Для меня это еда ли? – спросил солдат грустно. – Понюхал!

– Вот и он тоже – понюхал, – Иван кивнул на управляющего, который бережно собирал с расстеленной газеты хлебные крошки. Солдат несколько мгновений хлопал на него гноящимися глазами, отвалился от Ивана к стене и стал клясть мировую буржуазию в бога, в крест и в маузер.

Управляющий, отправив собранные крошки в рот, прилежно пожевал, поправил пенсне и в последний раз отмахнул от себя плавающие пистолетные дула. Затем вытащил из пальто браунинг и выстрелил в потолок.

Стало тихо.

Он прижал ладонь к горлу и зашелестел сорванным голосом, обращаясь к Ивану:

– Товарищ, вы почему мне не грозите оружием?

– Нездешний, – коротко ответил Иван. – Не привык. Продовольствие привез.

Стало совсем тихо. С потолка на стол оглушающе шлепнулся кусок штукатурки.

– Откуда? Сколько? – шелестел управляющий, напрягая горло.

Иван ответил. Он привез сто пудов муки, три бычьих туши, четырнадцать бараньих тушек и пуд топленого масла, которое вчера было изъято у попа.

Управляющий тут же распределил муку по трем пекарням, приказав начать выпечку в ночь. Мясо и масло отдал госпиталю. Но всем не хватило. Опять перед ним заплавали пистолетные дула. А он глядел сквозь пенсне на Ивана и улыбался печально, подрагивая старорезимной бородкой клинышком. «А ведь убьют его», – подумал Иван. Кое-как он утихомирил недовольных, вытурил их из комнаты под предлогом, что ему надо оформить и получить документы на привезенный груз. Закрыв дверь, сказал:

– Вам, товарищ, не следовало бы свой паек есть при всех. На такой случай закрывались бы, што ли.

– Нельзя, – прошелестел тот в ответ. – Закроюсь, подумают черт-те что. Бомбу бросят. Надо только на виду. Не та беда, что ем, а та беда, что три раза должен есть: язва желудка у меня, паек делю на три части.

– Можно ли при язве соленую воблу-то? – пожалел его Иван. – Позвольте, товарищ, отрезать вам кусок мяса и баночку масла принести. Это не взятка, – заторопился он, – это подарок вам будет. От каралатских коммунаров.

– Подарок должностному лицу и есть взятка, – проклекотал управляющий. – Но я учитываю, молодой человек, ваше искреннее желание помочь мне, поэтому благодарю на добром слове. Однако и забывать не след: этот подарок мы оба вынем из тифозных ртов.

Иван сник. Вспомнил Мылбая, но не сдался. Продолжал:

– Вы на таком месте, товарищ... Вас надо беречь. Свалитесь – кто придет?

– Сюда не приходят, – прошелестело ему в ответ, – сюда назначают. Не я, так другой назначенный будет здесь под пистолетными дулами жить, чему вы и были свидетелем.

– Был, – сокрушенно сказал Иван, поднимаясь с табурета. – Прощайте, товарищ. Счастливого вам. Ухожу с виною: ничем не смог помочь, а хотел.

Минут через пятнадцать каралатские сани были пусты. Богатырь, который хотел пристрелить управляющего складами, пер теперь на плече к своим саням бычью ногу. Увидел Ивана, ощерился:

– Поживем еще, браток!

Иван отвернулся. Не любил он шумных и бестолковых.

– Чего морду-то воротишь? А поехали со мной, поглядишь, как революционная тифозная братва в бараке на соломе дохнет. А ты, а? Морду воротишь!

Он стоял, покачиваясь, глаза его стекленели, левой рукой он придерживал груз на плече, правой уже рвал ворот гимнастерки. Но вот правая скользнула в отворот шинели за своим «смит-вессоном»... Плохо бы, наверно, все это кончилось, да, к счастью, подбежали к богатырю двое, тоже не слабые; один придержал его руку, другой переложил бычью ногу к себе на плечо. Повели его, оглядываясь и прожигая Ивана глазами.

– Лихой народ, – сказал Вержбицкий, приехавший вместе с Иваном. – За наш хлебушек, который от себя со слезьми оторвали, нас же лают и чуть свинцом не отдали.

– Обиделся, дядя? – спросил Иван хмуро.

Дядька в ответ слова не дал, лишь слабо хмыкнул.

– А напрасно. Тиф у него, – сказал Иван. – Он об этом еще не знает. А вечером сляжет. И сильно ему повезет, если койка найдется. Мы с Васькой Талгаевым первыми из степи вышли, нас в ванне мыли... А когда я из госпиталя выписывался, то до наружной двери по живым и по трупам пробирался, столько нашего брата было набито.

– Что деется, – вздохнул Вержбицкий. – Уж мы вроде у себя бедуем, а тут... Ох, Ваня! Давить нашу каралатскую контру надо беспощадно и без рассуждений, а то пропадем. Город на ниточке держится. Склады-то какие, видал? Бывших купцов Сапожниковых, их, мяса не поев, не обойдешь. Я заглянул – пусты. А ежели бы мы свою муку не привезли, что тогда?

Иван оглянулся на окошко, за которым сидел сейчас тот странный человек, управляющий складским хозяйством губпродкома, фамилию которого он даже не узнал, и потеплел сердцем. Сказал:

– Ежели да кабы... Ты, дядька, песню свою про город на ниточке забудь: контрреволюционная твоя песня, в Чека запросто загремишь.

Подшли еще восемь каралатских возчиков, все мужики в возрасте, из них Иван помнил только одного – Степана Лазарева, который когда-то дружил с его отцом.

– Ваня, – сказал Лазарев, – кони не поены и не кормлены, об себе уж молчим. Какие твои будут приказы? Тут постоянный двор рядом...

– Приказ один – назад, в Каралат, – ответил Иван. – Команду сдаю Вержбицкому, ему подчиняйтесь, он ваша волостная власть. Коней напоить и покормить здесь – и в путь. Без промедления.

– Что уж так-то, Ваня? Больно ты суров. Дозволь хоть чайком кишки прогреть в трактире, – загомонили мужики.

– Чаевник! – укорил Иван Лазарева. – У тебя дома семеро по лавкам. А на разомлевших и потных тифозная вша так и лезет. Еще нам этого дела в Каралате не хватало! Обойдитесь уж, мужики, без трактира. Целее будете. Слыхал, дядька? Взыщу!

– Не сумлевайся, Ваня. Мы ныне люди военные – на восьмерых одна винтовка. А ты свою заберешь?

– Оставлю. Ежели понадобится, мне и тут дадут.

Иван простился со всеми. Обнял дядьку.

– Вань, а ты куда намылился-то? – спросил Вержбицкий.

– Велено явиться к начальнику губмилиции товарищу Багаеву. А зачем – кто знает?

– Не ко времени, Вань, – попенял Вержбицкий. – Тамочки у нас дела теперя крутые пойдут, а ты в нетях. Они што – без тебя не обойдутся?

– Сам понимаю, не ко времени, – согласился Иван, – но ведь я при службе, дядя.

– Это уж да, – вздохнул Вержбицкий. – Службу служить – другу не дружить.

– В ночь идете, дядя. – Иван вынул наган. – Возьми. Мало ли что... Обращаться с ним можешь?

– Военком Медведев научил. – Вержбицкий сунул наган за пазуху. – Теперя с двумя винтовками и этой штукой нас задешево не возьмешь. Не бойсь, дойдем в целости. Сам вертайся скорейча. У товарища Багаева на тебе, думаю, свет клином не сошелся.

Со стесненным сердцем Иван проводил дядьку и возчиков, а сам пошел в центр города, в губмилицию. Было у него твердое намерение отпроситься у товарища Багаева, поймет, поди, не к теще на блины отпрашиваюсь, в Каралате бочка с порохом осталась. Но в кабинете у Багаева он даже заикнуться об этом не успел.

– Товарищ Елдышев, – сказал начгубмилиции, – я тебя жду. А ты запаздываешь.

Иван не помнил, чтобы ему было приказано явиться нынче; наоборот, он считал, что прибыл на день раньше. Но оправдываться не стал. Перед отъездом в Каралат он видел Багаева накоротке и не знал, что это за человек.

– А жду я тебя потому, – продолжал Багаев, – что из твоего формуляра следует: ты воевал. Это очень важно. Из сотрудников милиции и уголовного розыска сформирован спецотряд, который нынче в полночь отправится под Саратов за хлебом. Люди отобраны проверенные, но воевавших среди них мало. Командир спецотряда – я. Тебя назначаю первым своим помощником. В случае моей гибели командование принимаешь ты. Бери мандат.

Иван взял бумагу, прочел. Грозный был мандат! С таким мандатом в Каралат не отпросишься. И печать стояла своя, революционная. Вспомнил каралатского двуглавого орла, посожалел, что не успеет уж теперь заказать для родного села.

– Внизу, в дежурке, тебя дожидаются четыре вооруженных сотрудника, – продолжал Багаев. – Бери их и езжай на вокзал, из-под земли достань начальника дороги господина Циммера, он на мои телефонные звонки не отвечает. Ему еще вчера было приказано подготовить нынче в десять вечера тяжелый товарный состав. Ежели в десять часов состава не будет – ставь господина Циммера к стенке.

Иван вынул из кармана мандат, перечитал.

– Основательный ты мужик, товарищ Елдышев, – с одобрением сказал начгубмилиции. – Право расстрела там прописано.

– Этот Циммер по-русски хорошо понимает?

– Ежели меня попросят к стенке, скажем, на французском, я, думаю, враз смикитю, хоть и неуч. А все ж таки... Уважая твою основательность, товарищ Елдышев, дам тебе еще одного сотрудника. Он прекрасно разобъяснит суть дела хоть на немецком, хоть на английском – на каком Циммер пожелает. Тропкин!

В кабинет влетел дежурный, щелкнул каблуками.

– Агента губрозыска Гадалова ко мне!

– Поставить Циммера к стенке – дело левое, товарищ начальник, – сказал Иван, когда дежурный вышел. – А состав? Он сам по себе не сформируется.

Багаев тяжело и с явным сомнением, от которого Ивана бросило в жар, глянул на него.

– Не нравится мне твой вопрос, товарищ Елдышев. Мандат – мандатом, а я тебя туда не карателем посылаю. В десять часов вечера состав должен стоять на путях под парами. Головой отвечаешь! Я тебя не спрашиваю, разбираешься ли ты в железнодорожном хозяйстве, – я в нем сам ни черта не смыслю. Но тебе на этот случай и дана громадная власть. Ты ею привлеки людей, которые в деле разбираются. Задачу понял?

– Так точно, товарищ начальник.

Вошел агент губрозыска Гадалов. Им оказался парнишка лет шестнадцати в поршнях, ватнике и высокой калмыцкой шапке. Шапку он снял и тихим голосом доложил о прибытии. А когда он снял шапку, Ивану бросилось в глаза его тонкое, нервное, лобастое лицо, и почему-то подумалось Ивану, что к такому лицу никак не подходят ни поршни, ни ватник, ни высокая, похожая на башню шапка. А почему не подходит? Губмилиция и губрозыск располагались в одном здании, и пока Иван добирался до кабинета Багаева, повидал в коридорах всякого народа, и народ был одет пестро. Поршни – это еще милость, в лыковых лаптях щеголяли сотрудники, губисполком выделил для губмилиции четыреста пар лаптей... Подумалось Ивану одно, а сказалось другое:

– Товарищ, шапка у тебя сильно приметная. Считай, каждая пуля твоя.

Сказал – и прикусил язык: поперед начальства вылез, а его не спрашивали. Но, к удивлению, Багаев его поддержал.

– Сергей, что такое? – сказал он. – Я в губисполком отношении писал, чтобы тебе полный комплект воинского обмундирования выдали. И тебе, помню, выдали.

– Выдали, товарищ начальник, – тихо подтвердил Сергей.

– А где ж оно? Почему не носишь?

– Берегу... Мне его выдали как переводчику, а не как агенту губрозыска.

– Ну, парень! – только и сказал Багаев. – Разница-то какая? Тебе ж выдано!

– Разница есть, товарищ начальник, – тихо, но твердо стоял на своем Гадалов. – Вашим приказом я зачислен в спецотряд.

– И что?

– Угваздаю. Новенькое обмундирование. А вы сами же и сказали, что после возвращения с хлебом быть мне при вас переводчиком на встречах с английским консулом мистером Хоу и персидским консулом господином Керим-ханом уль-Мульк Мобассером.

– А ведь забыл! – хлопнул рукой по столу Багаев. – Совсем забыл! Нам надо, Серега, с ними говорить по делам военнопленных и беженцев. Слушай, а ты и персидский знаешь?

– Керим-хан, – сказал Гадалов, – в совершенстве владеет английским. У него оксфордское произношение.

– Это еще какое? – с неудовольствием спросил Багаев. – Поди-ка, вконец контрреволюционное, язви его!

Гадалов на мгновение запнулся, а Елдышеву, который в свое время окончил церковно-приходскую школу и, главное, много читал в поповской библиотеке, была понятна эта запинка.

– Очень правильное произношение, Иван Яковлевич, – пояснил Гадалов. – Культурное. Мне до такого далеко.

– Тогда обмундирование береги, Сергей, – строго сказал начгубмилиции. – Благодарю за службу и революционную сознательность, а я перед тобой в круговую не прав. О том бы мне, дураку, подумать: не оборванцами же перед господами капиталистами пролетарскую власть представлять. Ты в это оксфордское произношение хорошенько вникни, чтоб нас перс не надул! А товарищ Елдышев, который на время поездки будет твоим прямым начальником, от вахт для такого важного дела тебя освободит. Теперь идите и выполняйте задание!

## Глава восьмая

К десяти часам вечера Иван Елдышев поставить состав под пары все-таки не успел. Но к одиннадцати – поставил. Багаев привел отряд, принял рапорт как должное и даже не спросил, чего это стоило Ивану. Погрузились и поехали. После короткого совещания с помощниками, на котором обговорили внутренний распорядок, Багаев протянул Ивану лисий малахай, сказал:

– Передай Гадалову, тезка. И упаси его бог потерять как-либо. Из камеры вещдоков эта лиса взята. Возвращать придется.

Ровна степь для пешего, ровна для конного, а для паровоза и в степи нет ровного пути: на каждом перегоне таятся подъемы и спуски, почти незаметные глазу человека, но ощутимые для сердца старенькой «овечки». Ночами, когда паровоз, поистратив на подъемах скорость, не успевал набрать новую, откуда-то из тьмы налетали конники, постреливали, скакали рядом с вагонами, полосуя шашками их деревянные стенки, и исчезали прочь.

Сводный милицейский отряд, сопровождавший состав, не отвечал ни единым выстрелом. Запретил Багаев. «Пуля есть достояние революции, – строго сказал он. – Пулю надо расходовать с умом. Пока поезд бежит, нам сам черт не страшен».

Так, молча, они уходили от мелких степных банд. Далеко по горизонту слабо мерцали зарева, где-то гибли люди, рушились надежды, а здесь безостановочно стучали колеса вагонов, до отказа набитых мешками с мукой. Когда отошли верст на сто от Красного Кута, где брали хлеб, Багаев, несмотря на яростный протест машиниста, остановил поезд и часа два до пота гонял весь отряд, пока не уверился, что каждый твердо знает свои обязанности в случае нападения.

К каждой станции поезд подходил, оцетинившись винтовочными дулами, как еж иглами. Черным оком настороженно следил за станционной платформой пулемет. Со стороны это было, наверное, внушительно; мешочники, которых никто и ничто не могло остановить, испуганно откатывались назад. И бежала молва, что к поезду не подступиться. И бежала другая, что на все проверочные боевые наскоки поезд не отвечает. Ошарашивающая, сбивающая с толку весть летела по степи. А Багаев на нее и рассчитывал: он знал изнанку боевой мощи своего отряда. Пулемет заедал, винтовки были в исправности, но патронов к ним мало...

Потому-то и не терпел Иван Яковлевич подъемов, они раздражали неизвестностью, таившейся за ними. Вот и этот, версты в три, – что за ним? Всякое могло быть за ним, всякое... И он, подобранный, сказал машинисту:

– Гони, батя!

– Не лошадь, – язвительно ответил машинист, – кнутом не стегнешь. А ты, господин-товарищ, отойди, не мешай.

– Ладно, отойду, – бормотнул Багаев. – Я не гордый, отойду. – И продолжал про себя, заговаривая свое смущение и нетерпение свое: «Ишь ты, какой сурьезный мужик. Дать бы тебе по шее за господина, да нельзя, прав ты... Всяк будет соваться не в свое дело, что получится? Анархия получится, вот что... Анархия-то анархией, а проследить за тобой не мешает. Нет, не мешает проследить за тобой, батя, совсем не мешает...»

Разговаривая сам с собой таким образом, Иван Яковлевич зорко ощупывал глазами степь. «Может, все это ерунда? – думал он. – Может, ничего такого и не будет?» Но предчувствие ныло в нем: будет, будет, будет...

Паровоз одолел подъем и теперь, кашляя паром, тяжело вытягивал вагоны. Далеко впереди, в сером рассветном сумраке, разглядывалось что-то темное, бесформенное – там, на полустанке, мимо которого состав пройдет, не задерживаясь, стояло несколько домишек. Но не туда смотрел Багаев – смотрел он правее, где лежала балка. Дальним концом она уходила в

степь, ближним – широким полукругом охватывала рельсовый путь, и в это полукружие уже втягивался состав. Если бы Багаев решил напасть на поезд – он напал бы здесь. Несмотря на то, что ни в балке, ни около не было заметно никакого движения, он дал три коротких гудка – сигнал тревоги. В эту минуту его шатнуло вперед: он уперся руками в стекло и в просвете между ладонями увидел на рельсах красный огонь. Человек угадывался смутно, но огонь рдел, описывал круги – яркий, бесстрашный; кто-то предупреждал их, что путь разобран...

Тело Багаева стало легким и упругим, гневная сила втекла в каждый мускул, мозг работал четко и схватывал сразу многое. Слева, боковым зрением, Иван Яковлевич видел, как машинист ручкой реверса дает контрпар, как помощник его налег на тормозное устройство, – он видел это и с запоздалой виной думал, что зря подозревал машиниста, обидел этим старика и подделом схлопотал от него «господина». И еще он отметил, что поезд быстро замедляет ход, – значит, там, в вагонах, двадцать тормозильщиков тоже не сидят сложа руки. Он отметил это, как зарубку положил, и тут же забыл. Справа, примерно версты в полторы от состава, из балки выхлестнула темная волна. «Вот где вы пригрелись, змеи», – подумал он без удивления. Надо было бежать к своим, но Иван Яковлевич не мог сдвинуться с места, ему казалось кощунством уйти сейчас, когда там, на рельсах истекали последние мгновения жизни неизвестного ему человека, предотвратившего крушение поезда. «Узнаю имя, – заклинал себя Багаев, – дорогой ты мой товарищ, по земле мне не ходить, узнаю твое имя». Теперь он следил уже не за ним, а за конником, вывернувшимся из-за жилых построек. За ним следили и милиционеры, с крыши состава прогремело несколько выстрелов. Но поезд был далеко, он уже замедлил ход и пули не достали. А конник все ближе, ближе, вот он взмахнул рукой, граната полетела от него к человеку на рельсах, упала – и на том месте расцвела малиновая вспышка. Конь поднялся на дыбы, защищая всадника от осколков, и стал заваливаться назад: всадник соскользнул с него и побежал в степь.

Багаев широким шагом шел по крыше состава, перепрыгивая провалы в местах сцепления вагонов. За мешками с землей по двое длинной цепью лежали милиционеры. Багаев молча проходил мимо них: все, что надо было сказать, было сказано и повторено раньше.

– А ты почему один? Где напарник? – спросил Багаев у Сергея Гадалова. Плечо шестнадцатилетнего парнишки мелко дрожало под рукой Ивана Яковлевича. – Боязно?

– Не-ет, – ответил Сергей. – Замерз я, вот и дрожу. Со мной Иван Елдышев, он ждет вас у пулемета.

– Тогда тебе лучше, парень. Я вот не замерз, а дрожу...

Сергей улыбнулся мучительно.

Елдышев сидел у пулемета и доставал из чехольчиков немецкие гранаты с длинными деревянными ручками. Аккуратно ставил их рядом. Сосед его, агент губрозыска Петр Космынин, сожалеючи спросил у Багаева:

– Как будем делить, товарищ начальник?

– Поровну, Космынин, поровну, – ответил Багаев, устраиваясь за пулеметом. – Хоть как хитри, Космынин, а их всего шесть.

Космынин отбухал в окопах всю царскую войну, боевой опыт у него был. Ему Багаев поручил хвостовую часть состава, Елдышеву – головную, себе взял центр...

– Что-то вы расселись, мужики... Не к теще на блины пришли.

Космынин взял две гранаты, поднялся и сказал обиженным голосом:

– Пойду.

– Поспеш... А ты, тезка, – попросил Багаев Елдышева, – пригляди за Сергеем Гадаловым. Побереги его.

– Я уж и так, товарищ начальник, – ответил Иван, взял гранаты и побежал к своим.

Балка еще выхлестывала последних конников, а основная их масса уже развернулась и левой пошла на состав. В тишине зимнего утра возник слабый вой, он разрастался, густел. «Сотни полторы», – определил Багаев. Нападение подготавливалось в спешке, много времени у них было потеряно на выход из балки по неудобному, видимо, подъему.

– Любишься, Тюрин, – сказал Багаев напарнику, – такое не часто увидишь. Это не какая-нибудь бандочка, казаки идут.

– Дурость – и ничего больше, – ответил Тюрин. – Разве так поезда берут?

– А где ты видел, как их берут? Мне как-то не пришлось.

– В Америке видел.

– В Америке... – отсутствующим голосом произнес Багаев, вспомнив по его личному делу, что Тюрин действительно всю германскую войну в Америке прокукарекал. Запоздало укорил себя: это называется он проверенных людей на хлебный состав отобрал? Приник к прицелу. – Вася! – сказал нетерпеливо и тревожно. – Не приказываю – прошу: старайся держать ленту повыше. Заест – пропадем, тут тебе не Америка.

Вон тот бородач, думал Багаев, его только допусти сюда... Еще немного, еще... Уже виден провал разъятого в крике рта. Еще подождать. Пора!

И он ударил.

Лишь самое начало боя, когда ударил пулемет и стал сминать первый рядок лавы, и она, словно наткнувшись на невидимую стену, потекла в стороны, – лишь это уложилось целостной картиной в сознании Сергея Гадалова, а все остальное слилось в какой-то вихрь обрывочных картин и действий, причем все свои действия он совершал бессознательно – будто и не он, а кто-то посторонний, существовавший в нем потаенно до поры до времени. Этот деловитый человек в нем стрелял, бежал туда, куда приказывал Елдышев, совершенно не думая, с какой целью бежит и что будет делать дальше, – и не удивлялся тому, что цель перебежек вдруг раскрывалась сама, без подсказки: надо было снять с тендера четверых казаков. Рядом стреляли товарищи, и он тоже шелкал затвором, досылал патрон, стрелял – и, может быть, убивал, и хотел убивать. Визг лошадей, жалобный плач рикошетируемых пуль, площадной мат, стоны, грохот гранатных разрывов, прерывистый говор пулемета – все это видел, слышал другой человек в Сергее Гадалове, и он, этот другой человек, кричал от страха, ужасался, ничего не понимал и хотел одного – забиться куда-нибудь, спрятаться, исчезнуть. И то желание осуществилось: позади ударила граната, и Сергея сбросило взрывной волной с крыши вагона. Он успел ощутить толчок о землю, но земля его не задержала, он продолжал падать в ее темные вязкие недра и пробыл там целую вечность. А когда пришел в себя и встал, покачиваясь, то увидел, что за целую вечность ничего на земле не изменилось. И еще увидел – смерть его близка. Тогда тот, деловитый, не рассуждая и ничему не удивляясь, поднял винтовку и выстрелил. И потому, как мстительно оскалил зубы казак, как занес он для удара шашку, понял Серега Гадалов, что промахнулся, и закричал коротким смертным криком. И опять деловитый, будто так и надо, успел поднять плашмя винтовку. Сталь тяжело, со вскриком, ударила о сталь и высекла струю бледных искр, ожгла ему левую руку. На второй удар всаднику не хватило жизни: Елдышев услышал крик Сергея и послал свою пулю.

И сразу же стало тихо. А может быть, и не сразу, но только Сергей вновь ощутил себя, когда кругом стало тихо. Конечно, звуки были: пофыркивал паровоз, поругивались на крыше дальнего вагона какие-то люди, пытаясь сбить пламя; вблизи слышалась негромкая хриплая речь, посвистывал ветер в разбитых окнах тормозного вагона; голос санитарки Тони ласково уговаривал кого-то: «Потерпи, миленький, потерпи. Батюшки, да зачем ты меня кусаешь? Не надо, миленький, кусаться, мне еще других перевязывать». Эти голоса и звуки доходили до Сергея смутно, он ничего не понимал в них и, сидя на земле, бездумно смотрел на левую кисть руки, где шашкой был почти отвален мизинец. Временами на Сергея накатывала дурнота,

глаза, застилала багровые всполохи, бил озноб. Но не от этого страдал он – страдал от мысли, сначала слабой и отдаленной, а по мере того, как он приходил в себя, все более грозной и неумолимой – ее, казалось, рождал каждый удар сердца: трус, трус, трус... «Трус!» – кричало все его существо, и жизнь, которая была так желанна, за которую он так дрожал, теперь казалась ему невозможной, отвратительной, купленной ценой предательства. Как посмотрит он в глаза своим товарищам, что скажет Елдышеву, что скажет Багаеву? Они все видели, все знают, а он не знает даже, живы ли они, – так боялся за себя. И Сергей, ярко и зримо вспомнив свой ужас и бесцельные неумелые действия, застонал от стыда.

А Багаев подошел, сел, спросил:

– Сергей, почему руку не перевязал?

Спросил буднично, устало – и это было необъяснимо, это никак нельзя было совместить с тем, над чем казнилась душа юноши. Сергей снова глянул на окровавленную руку, боль стала нарастать, заполнять тело, подошла к горлу, но тут же отхлынула, и Сергей забыл о ней. То, что он отделался пустячной раной, когда другие, возможно, отдали свои жизни, лишней раз убедило его в своей трусости, виновности, подлости. И догадка обожгла его: Багаев притворяется, Багаев шадит...

Багаев между тем внимательно взгляделся в Сергея. Вздохнул, поднялся, одернул на себе гимнастерку:

– Встать, Гадалов! Встать!

– Зачем? – вяло отозвался Сергей. – Зачем вы притворяетесь, Иван Яковлевич? Меня расстрелять надо...

– Что такое? Ты как, сукин сын, с командиром разговариваешь? Вста-а-ть!

И с острой жалостью глядел, как поднимается с земли Сергей Гадалов. Чистая душа этого юноши скорбела... Вспомнил Багаев себя, первую сабельную рубку свою, затуманился...

– Сергей, – мягко сказал он. – Слушай меня внимательно. Слушай и запоминай, повторять не стану. Ты действовал в бою храбро, находчиво, сообразно обстановке, понял?

Однако пришлось повторить. Сергей вроде бы и слышал, а не понимал ничего. Дело худо, подумал Багаев, в таком разнесчастном виде его оставлять нельзя. Он зорко огляделся по сторонам, крепко встряхнул парня, спросил:

– Способен слушать?

И увидел – способен.

– Повторяю. Елдышев доложил: ты действовал в бою храбро, находчиво, сообразно обстоятельствам. Оглушенный и сброшенный с крыши вагона, винтовку не выронил, не напоролся на штык. Понял теперь? Винтовку из рук не выпустил и от казака оборонился. Значит, Серега, из тебя выйдет надежный боец.

Сергей так и подался к нему:

– Дядь Ваня, правда ли? Выйдет?

– Еще чего – командир тебе брехать будет? И кто он такой, этот дядь Ваня? – стал заворачивать потуже гайки Иван Яковлевич. – Я такого не знаю. Я знаю командира спецотряда товарища Багаева, то есть себя лично, и бойца спецотряда, агента губрозыска товарища Гадалова. В данную минуту командир выражает бойцу благодарность за стойкое поведение в бою, а боец стоит перед командиром рассупонившись, винтовка на земле, рука не перевязана. Марш на перевязку! Казацкая шашка не больно сечет, зато потом больно бывает, поверь мне.

А там, на разъезде, выскочил в это время из землянки человек, кинулся в одну сторону, в другую и увидел то, что, наверное, боялся увидеть, и застыл на месте. А потом побежал на пределе сил, заполошно размахивая руками, раздирая легкие дыханием. Подбежал, рухнул на колени, затих.

И Багаев, глянув туда, гневно себя укорил. Восемь человек погибло в бою, но вот о самом первом он забыл, даже в счет не взял его. После боя много забот о живых сваливается на командира, а все ж таки забывать-то не следовало, раз обещал...

На шпалах лежал четырнадцатилетний парнишка. Осколки гранаты распахали его тело, лишь лицо осталось нетронутым: широко раскрытыми глазами глядел он в зимнее небо, и не видел ни неба, ни Багаева, ни отца, уткнувшегося головой ему в колени, ни Елдышева, подошедшего и вставшего рядом с Багаевым. Короткой, как гранатная вспышка, была его жизнь: пришел и ушел, и нет его, малой песчинки этого мира. «А вот что я сделаю, милый мой, – решил Багаев, сокрушаясь сердцем. – Выстрою я отряд и перед строем по русскому обычаю поклонюсь в пояс твоему отцу. И благодарность ему скажу от всего мирового пролетариата. А имя твое в рапорт впишу. Больше, милый мой, я ничем не богат».

Человек тяжело поднял голову от колен сына – борода в крови, зубы оскалены – не человек, оборотень.

– Имя спрашиваешь? – ненавистно прорыдал он в лицо Багаеву. – А ты, сука красная, сына мне вернешь за имя?

Под шершавой ладонью Елдышева рука Багаева намертво припаялась к кобуре маузера – не шевельнуть. Нет света, нет дыхания...

– Стреляй! – хрипел мужик, поднимаясь. – Пореши заодно!

Елдышев, вздыхая, шел за Багаевым.

– Сманули мальчонку... Осиротили! – ненавистно несло им вслед. – Убивать вас буду, жечь... Чтоб она сдохла, ваша проклятая революция!

– Ничего не пойму, – сокрушенно говорил Елдышев. – Лежал старик в землянке связанный, как куль. Не мы его связали, не мы мальчонку его гранатой растерзали... Хоть убей, ничего не пойму, Иван Яковлевич.

– Раз он лежал связанный, это меняет дело, – задумчиво проговорил Багаев. – Ты, тезка, потолкуй с ним. Наскоком, как я, такого сурьезного мужика за душу не возьмешь. Кто он такой, где живет, какая семья? И узнай имя парнишки.

– А чего узнавать? Узнано... Степан Степанович Туркин, тринадцать лет. И отец его, вурдалак этот, тоже Степан Степанович. Вдвоем тут на полустанке и живут: Степан Степанович да Степан Степанович.

– Жили вдвоем, – поправил Багаев. – Ему теперь не прожить после нас и дня. Надо его забрать с собой. Уговори.

– Я девок-то не умел уговаривать, – махнул рукой Елдышев, – а этого как уговоришь? Постараюсь, конечно... Вот вы бы поехали?

Багаев запустил пятерню в затылок:

– М-да... Поговори все ж таки.

## Глава девятая

Поезд тронулся только под вечер. Машинист осторожно провел состав по кое-как скрепленным рельсам. В насквозь продуваемой теплушке уснули милиционеры, свободные от несения дежурств. Спали вповалку, укрывшись брезентом, исторгая стоны, храп и жаркие речи, смятые сном в мычание. А в другой теплушке под куском брезента, у стены, спали еще восемь, навсегда свободные от дежурств. А девятый остался далеко позади, у разъезда, и спал под большим крестом, который отец сделал ему из просмоленных плах. Он закончил эту работу – глядь, а конники рядом, и лошади, сбрасывая пену, кивают ему головами. Что ждать от этих людей? Он удобнее перехватил топор и пошел на первого, уже знакомого ему.

– Хорошо ли твой сын послужил красным? – спросил знакомец, обнажив сахарные зубы. Жеребец под ним плясал.

– Хорошо, – подтвердил отец, приближаясь. – Жеребца уйми.

– А куда ж ты идешь? – спросил знакомец. – С топором-то, на кого?

– На тебя иду, сахарный, – сказал отец, приближаясь. – Убить тебя.

– Ну, попробуй, – смеялся тот: каждое движение топора сторожил позади казак с шашкой. – Ну, давай, размахнись пошире!

– Еще чего, – сказал обходчик и метнул топор снизу вверх. – Дурака нашел?

Лезвие топора врубилось в грудь всадника, задев концом открытую шею. Всадник пустил изо рта длинную черную струю и сполз с лошади.

– Топор дюже хорош, – сказал обходчик. – Струмент дедовский.

И никто его не услышал: ни тот, кто стоял рядом и стирал с шашки кровь, ни те, уже далекие, кого мотало сейчас в насквозь продуваемой теплушке, ни Иван Елдышев, который звал его с собой, ни Сергей Гадалов, который лежал рядом с Елдышевым, баюкая перевязанную руку, ни Иван Багаев, стоявший в кабине паровоза, – никто его не мог услышать. Если бы эти люди оглянулись, они бы, возможно, увидели в степи огненный крест – жарко горит просмоленная плоть дерева! Но эти люди не оглядывались: что позади, то позади. А впереди снова горбился подъем, и Багаев, злой, напряженившийся, крикнул машинисту:

– Батя, сколько еще их на нашу долю?

Машинист подумал и хмуро нагадал, глядя во тьму.

– На мою долю два, а на вашу, сынок, как придется...

Состав с хлебом они привели в Астрахань ранним утром. Когда осталось совсем немного до Астрахани, Елдышев, выбрав минуту, обратился к Багаеву:

– Товарищ начальник, прошу совета.

– Давай, на советы я горазд.

Елдышев рассказал, что происходит в родном Каралате. Багаев насупился.

– Ты же сам видишь, ребят я собрал боевых, но ведь молодежь, пороуху и не нюхала! А нам еще раз идти.

– Теперь понюхали, – тихо заметил Елдышев. – Потому и говорю: прошу совета, а не прошу отпустить. Где мне быть нужнее? Душа у меня беспокойна. О пороухе мы заговорили... Я в Каралате целую бочку его оставил, и фитилек рядом.

– А почему сразу мне не сказал?

– Хотел, да не решился... Я военный человек, Иван Яковлевич.

– Тоже резонно... Вряд ли бы я поверил тебе сразу-то. А теперь видел в деле – верю.

– Благодарю, товарищ начальник...

– Есть, значит, хлеб у кулачишек...

– У нас, Иван Яковлевич, не кулачишки, у нас исстари богатейшее село.

– Ладно, – сказал Багаев, – отпускаю. Я, признаться, глаз на тебя положил, думал забрать к себе в аппарат. Грамотных у меня мало, Ваня! – пожаловался он. – Протоколы пишут через пень колоду... Чтоб свой, преданный революции человек да еще и грамотный – это, брат, на вес золота. Как там Гадалов? Раненых навещал, а его среди них не видел. Оклемался?

– Да как сказать? Кисть вспухла, жар... Думаю, последние два звена от мизинца отнимут.

– Ничего, злее будет, – сказал Багаев. – Но пусть дурака не валяет! Чтоб был в теплушке для раненых! А то знаю его... Вознамерился, поди, скрыть и второй раз пойти с нами.

– Есть у него такая мыслишка, – улыбался Елдышев. – Эх, молодо-зелено... У всех, говорит, раны как раны, а у меня – мизинец...

– Вот-вот! Передай ему мой приказ и будь свободен, – сказал Багаев. Пожал руку Ивану, добавил: – Держи там крепче революционную линию, товарищ. Если что – сообщай, поможем.

По дороге к лазарету, в котором лежал дружок его Васька Талгаев, Иван забежал на базар Большие Исады, продал трофейные мозеровские часы. Купил пирог с требухой, кусок вареного мяса, фунт хлеба и фунт комкового сахара. Подсчитал остаток – хватило на фунт перловой крупы и пачку махорки. Крупой и махоркой дядьку обрадует...

К Ваське его, как и в прошлый раз, не пустили, но сказали, что вчера он поднялся и сидел на койке. Иван передал через нянечку продукты, записку и, радостный, что друга не сожрал тиф, выскреб из карманов все, что оставалось в них, нанял извозчика и покатил на выезд из города. Здесь ему повезло – нашлась оказия. Ночью он уже стучал в дверь землянки, с замиранием сердца ожидая дядькиного голоса. И скрипнула внутренняя дверь, и явлен был родной голос, и отлегло от тревожного сердца...

– Живой? – тормошил дядьку Иван.

– А что с нами сдеетсяя? – сонно отвечал дядька. – Ваня... Табачку не промыслил ли?

И от этого сонного теплого голоса, от влажного, живого дыхания единственного во всем белом свете родного ему человека стал Иван счастлив... Торопясь, нашел дядькину руку, вложил в нее пачку махорки.

– Мать родная! – возликовал Вержбицкий, заядлый курильщик. – Целая пачка!

## Глава десятая

У старика Григория Точилина, к которому экспроприационная комиссия пошла на следующий день после возвращения Ивана, не семья была – род. Шесть сыновей, старшему из которых, Никите, было далеко за пятьдесят, семь женатых внуков, правнуки и правнучки – иных женить и выдавать замуж уже пора. Старик никого не отделял. Лишь построил для сыновей и старших внуков дома рядом. Столовались вместе, общий расход шел из рук старика и доход в его руки. Когда Елдышев с товарищами вошли в горницу, Точилины сидели за огромным, как поле, столом, завтракали. Из трех кастрюль на столе и увесистых кружек парил круто забеленный калмыцкий чай, запах свежесдобитого хлеба сминал мысли... Иван быстро и обеспокоенно глянул на Мылбая Джунусова. Тот держался молодцом, лишь на глаза пал туман...

– Гляди-ка на них, – сказал Григорий Точилин, восьмидесятилетний, крепкий телом старик, – выставились, гостенечки дорогие, комиссары голож... Бабы! Все с печи на стол мечи, а то сами по загнеткам будут шуровать, обожгутся ишо... У них, у комиссаров, манера такая – первым делом пожрать на дармовщину.

Старик набивался на скандал, это было ясно. Шум нужен был старику, свалка. Сыновья и внуки угрожающе поднимались из-за стола, все сытые, краснорожие... Андрей, сын Ерандиева, щелкнул затвором винтовки.

– Отставить! – приказал ему Иван и сказал Джунусову, жалея его сердцем. – Сходи, Мылбай, приведи двух понятых.

Джунусов глядел на него туманными глазами.

– Двух понятых, – показал Иван на пальцах. – Приведи.

Мылбай наконец осмыслил сказанное, вышел. На лицо старшего Ерандиева было страшно смотреть. Да и сам Иван чувствовал, что такой ненависти у него не было даже к немцам.

Излишков хлеба, скота и мануфактуры у Точилиных не оказалось. Продуктовая лавка и лабаз старика тоже были пусты, а полки вымыты и выскоблены, словно в насмешку. Обыск закончили к вечеру. Иван на что был крепкий парень, но и его пошатывало.

– Мы, – сказал Точилин, под одобрительный смешок своих потомков, – комиссарам всегда рады. Захаживайте при случае ишо раз.

– А мне с тобой, гражданин Точилин, и вовсе жаль расставаться, – ответил Иван. – Собирайся.

– Это куда же?

– В кутузку. Посидишь – авось вспомнишь, где хлеб спрятал и куда скот угнал.

От рыбопромышленника Земскова, как и от лавочника Точилина, экспроприационная комиссия тоже ушла ни с чем, если не считать самого Земскова.

– Привел тебе напарника, старик, – открыв дверь каталажки, сказал Иван. – Вдвоем вам будет веселее. Как надумаете – позовите, я рядышком.

– Вот тебе, – прошипел старик Точилин, вывернув кукиш, – не видать вам моего хлеба!

– Завтра, граждане, – невозмутимо продолжал Иван, – перевожу вас на пролетарский рацион питания. Один раз в день кружка горячей воды, фунт хлеба и одна вобла. Родственники ваши предупреждены, чтобы больше ничего не носили.

Дня через три пришел старший сын Точилина, Никита Григорьевич, угрюмо попросил: «Дозволь отцу слово молвить». Иван молча отпер замок. Впустил, сам встал в дверях.

– Батюшка, – поклонился отцу сын, – их сила. Не выдюжишь.

Старик его прогнал. А через неделю потребовал священника. Иван к тому времени уже освободил Земскова, сын которого (и внук убившегося на скачках деда) привез хлеб на двух

санях. Ездил он за ним к морю, в камыши, – там, на одном из бесчисленных островков, был, видимо, у Земсковых тайник. Хотелось бы знать Ивану, что осталось в том тайнике...

Комиссия перестала ходить по кулацким домам. После двух-трех неудач Елдышев понял, что это бесполезная трата времени: хлеб, мануфактура, соль, спички, снасти, сахар спрятаны у каралатских захребетников давно и надежно. Еще понял Иван, что действия гласные, дабы иметь успех, должны быть подкреплены действиями негласными. Стал начальник волостной милиции (а теперь он был полноценный начальник, волисполком поднатужился, и наскреб паек для двух милиционеров) хаживать в народный дом, где директор Храмушин учил парней и девчат грамоте. Здесь же каралатские комсомольцы готовили к постановке свой первый спектакль и, не мудрствуя лукаво, вкладывали в уста шиллеровских героев призыв к революции. Стал, повторяю, Елдышев хаживать в народом, и вскоре у него появилось в друзьях много молодых людей. Иные удивляли его своей зоркостью. Семнадцатилетняя Катька Алферьева сказала ему, что в избе коммунара Степана Лазарева повадились глубокой ночью топить печь...

– Катерина, – строго сказал Елдышев, – ты бы допоздна-то не гуляла, замерзнешь еще ненароком... И что же, часто печь топится?

– Раза два видела, – запыхав, прошептала Катька Алферьева. – И Вася видел... тоже.

Вася между тем недобро поглядывал на них из другого конца зала, где собрались парни. К счастью, Вася оказался пареньком смышленным и понял все с полуслова. Катерину провожали вдвоем... Со двора Алферьевых хорошо был виден двор Лазаревых, но в ту ночь наблюдатели не заметили ничего подозрительного, даже печь не топилась. Повезло во вторую ночь. Перед рассветом возник у крыльца человек, постучал в дверь условным стуком. Открыли ему тотчас – видать, ждали.

– Выйдет – доведешь его до дому, – прошептал Елдышев Васе. – Не приметил чтоб!

Вася снял тулуп, оставшись в ватнике: в первую ночь они чуть не пообморозились, вторая научила их уму-разуму.

– Вернешься и заходи туда, – Иван кивнул на землянку Лазаревых. – Я там буду.

После ухода ночного гостя Иван подождал минуты две, перемахнул через забор и постучал так, как стучал ушедший. И верно постучал, потому что Лазарев, полуоткрыв дверь и белея в темноте исподним, спросил заискивающе:

– Али забыл что, Никита Григорич?

Сказал он эти слова и осекся. А Иван подумал, что зря погнал Васю следить за пришельцем: хлеб здесь был старика Григория Точилина.

Они постояли немного, и тяжело дались эти мгновения Степану Лазареву, которого Иван знал с детства мужиком многодетным и невезучим. Баба его, тетка Лукерья, постоянно рожала одних девок, да и те мерли: из трех выживала одна. Скотина на этом дворе тоже не держалась: то в ильмене увязнет, то мор на нее падет. А однажды летом произошло такое, после чего Степан уже не мог подняться хозяйством и съехал в батраки. За одну августовскую ночь неведомая болезнь, называемая в народе сетной чумой, превратила всю его снасти в коричневую гниющую массу. Другой бы запил от стольких напастей, озверел, но Иван помнил Степана Лазарева всегда веселым, неунывающим, с удивительно светлой улыбкой на курносом бородатом лице. Был Степан Лазарев схож с Ивановым отцом несгибаемой беззащитностью перед жизнью, оттого-то, видать, и дружили... Вспомнив это, Иван одернул себя: отроческая память светла, но она не даст ключа к пониманию того, что было и что есть... Коммунар Степан Лазарев глухо сказал:

– Проходи, товарищ Елдышев, коли пришел.

В горнице Степан долго высекал огонь, чтобы затеплить каганец. Иван нащупал ногой табуретку, сел. Сопели на печи дети, в темноте теленок ткнулся сухим теплым носом в руку Ивана, вздохнул, как человек. И сразу же проснулась тетка Лукерья и спросила звонко, предчувствуя беду:

– Отец, ктой-то у нас? Кто?

– Я это пришел, тетя Луша. Иван Елдышев.

– Да чтой-то ты поздно, Вань? Али дело какое?

Иван молчал. Тогда Лукерья слезла с печи, во тьме нашла Ивана, опустилась на колени и обняла его ноги. Иван поднялся, но больше двинуться не мог.

– Ты что? – растерянно сказал он. – Ты что, тетка? Пусти...

– Вань, – плакала Лукерья, – не погуби нас, век молиться буду. Вань, ты же нас знаешь... Ну что тебе? Анка! – позвала она дочку. – Он солдат, ему надо... Проси его, проси! – вдруг закричала она и, разжав руки, сползла на пол.

Степан зажег каганец. Жалкая улыбка кривила его губы. Вдвоем они подняли Лукерью, положили на застланный чаканкой пол, где, прикрываясь тулупом, сидела старшая дочь Анка. Рядышком беспробудно спали еще две девочки. На печи за ситцевой занавеской, откуда слезла Лукерья, слышались шорохи, сладкий сап, сонное бормотание – и там спали дети. У печки покачивалась подвешенная к потолку зыбка. В ней сидел большеглазый младенец и ликующе гулькал, потому что видел свет каганца, слышал голоса людей – и в том была его огромная радость.

Вошел Вася, доложил уже известное. Спросил:

– За сколько продал коммунарскую совесть, дядь Степан?

– За мешок муки, Вася, – ответил Лазарев. – Двадцать точилинских храню, чтоб им пусто было. И еще лежат у меня в подполе десять мешков кускового сахара да пять штук ситцу.

– Иуда ты, дядь Степан, – сказал Вася. – А ты, ты! – крикнул он, найдя глазами Анку. – Предательша! Гадюка! С нами ходишь, наши песни поешь, а нож у тебя за пазухой.

– Я иуда, – ответил Степан, – а девку не трожь. Ты ее слез не видал. И будя об том. Я готовый, товарищ Елдышев. Все приму.

– Дай! – потянулся Вася к кобуре Ивана. – Дай мне!

– Больно ты резвый, парень, – сказал Елдышев, отводя его руку. – Тетка Лукерья, ты жива?

– Жива, Ваня, – ответила Лукерья. – А силушек моих нету подняться. Сердце зашлося. Ты прости меня за слова за поганые. И ты, дочь, прости. Ум смеркся.

– Светает уже, – сказал Иван. – Туши каганец, хозяин. Мы сейчас с Василием уйдем, и запомните, граждане Лазаревы, нас тут не было.

– Шкура ты, товарищ Елдышев, – сказал горячий Вася. – Ух, гад! Вот кого стрелять надо...

И Вася пошел к двери.

– Погоди, – Иван цепко ухватил его за плечо. – Не петушись... Никита Точилин часто приходит за мукой, дядь Степан?

– В неделю раз... Понемногу берет.

– Придет – дай! Прими, как принимал. И гляди, Степан Матвеич... Судьба твоя на волоске.

Елдышев почувствовал, как доверчиво ослабло под рукой плечо Васи.

И было это неделю назад. А теперь старик Точилин требовал попа – собороваться.

– Помрешь и так, – жестко сказал Иван. – Или здесь помрешь, или хлеб отдашь, лютый старик. Контрреволюционную агитацию я тебе разводить не дам.

– Зови, Никишку, – глухо сказал тогда Точилин.

Иван привел Никиту, прикрыл за ним дверь каталажки – пусть теперь отец с сыном посоветуются наедине. На хлеб, что спрятан у Лазарева, они не покажут, думал Иван. Для них он надежно спрятан; никому и в голову не придет искать у Лазаревых. Есть и еще причины, чтобы не указывать им на Лазаревых. Лучше вырыть еще одну яму с хлебом, чем вырыть яму себе, лишившись поддержки в Заголяевке. Точилины – каралатские политики, усмехнулся Иван, на том и срежутся.

- Хватит, граждане, – он открыл дверь. – Не на сходку собрались. Что решили?
- Пойдем, – сказал Никита Точилин, – получишь хлеб, чтоб ты им подавился!
- Разжую как-нибудь, у меня зубы крепкие.

Во дворе у младшего сына старика двенадцать Точилиных подошли к широченному крыльцу, ухватились за края дубовых плах, крякнули, приподняли и понесли крыльцо в сторону. Открылся низкий деревянный сруб, запечатанный круглой плашкой, – лаз в тайник.

– Теперь, дед, – сказал Иван старику, – можешь помирать на здоровье.

– Я ране твою смертушку увижу, Ванька, – ответил Точилин. – Увижу и помру спокойно.

– Не будет, дед, нам спокойной смерти, – сказал Иван. – Хлеб твой, что спрятан у Лазарева, мы нашли. Где ж тут помереть тебе спокойно? А мне, думаешь, легко будет помереть, зная, что весь твой выводок цел? Ради спокойной смерти нам с тобой надо было еще при царе поторопиться... Ты что, сдурел?

Старик дико, по-заячьи вереща, тянулся дрожащей лапкой к горлу Ивана.

## Глава одиннадцатая

Каталажка не пустовала. Зато и хлеб потек тонким поначалу ручейком, а Иван расширял его русло всячески... И вдруг из губернского комиссариата юстиции пришла в Каралатский волисполком бумага. Некий Диомидов, следователь, грозил начальнику Каралатской милиции страшными революционными карами за аресты мирного населения. Предволисполкома Петров, безоглядный во многом, перед каждой бумагой сверху испытывал трепет. Чесал затылок, спрашивал:

– Ваня, права-то нам на такие аресты дадены? Ты человек грамотный, растолкуй. А то, знаешь, своя же власть к стенке и поставит.

– А мы не пробовали уговорами? Не собирали кулаков на митинг?

– Шут его ломи! Что ж он тогда пишет! Сдурел, что ли? Его бы в нашу шкуру!

– Мы, Андрей Василич, ни одного каралатца, сдавшего добровольно излишки, не арестовали. Давай и будем отсюда плясать. Но все ж таки... Напишу я Багаеву. Он мой начальник, ему и карты в руки: пусть разъяснит, кто из нас прав, а кто виноват.

Багаеву он написал все, как есть, начиная с Точилина. Не утаил, что в кутузке холодно, топят ее два раза в неделю, и что из бедняцкого фонда, созданного волисполкомом, он ни грамма не берет на питание арестованных, их содержат родственники. Написал и про рацион, который установил сам. Вот и бумажная война началась, думал он, грустно улыбаясь.

## Глава двенадцатая

В Каралат приехал агент губрозыска Сергей Гадалов. Учил Ивана, как правильно вести следствие, оформлять протоколы. Привез и записку от Багаева. «Товарищ Елдышев! – писал начгубмилиции. – Этот перекрашенный меньшевик Диомидов давно требует твоего ареста. Я знаю, за какое мирное население он хлопочет, и тебя в обиду не дам. В городе голод. Кто тайно гонит скот под нож, кто гноит хлеб, рыбу, сахар и мануфактуру в земле, тот враг революции, и весь тут сказ. Действуй, товарищ, смелее! Пролетарский привет товарищу Петрову, он держит правильную линию. На ней и стойте».

Петров расцвел.

– Ты и обо мне написал, Ваня? – польщенно спросил он. – Вот спасибо. Уважил!

– Андрей Васильевич! – сказал Сергей Гадалов. – Багаев на словах просил передать, чтобы на каждый арест волисполком выдавал Елдышеву разрешение.

– Эка, Сережа! Пусть-ко попробует без разрешения. Мы ему попробуем!

– Имеется в виду письменное, Андрей Васильевич. Приедет проверять тот же Диомидов, камера у вас забита, а тут, – Сергей поднял папку, – пусто. По какому праву Елдышев арестовал людей? Взял – и арестовал по своему хотению, можно и так понять.

– Действительно... – ошарашенно сказал Петров. – А ты куда глядел? – напустился он на Ивана. – Мы-то хоть народ темный, а ты все поповские книги перечитал, голова! Мог бы и присоветовать.

– Про наш случай в тех книгах ничего не написано, – улыбался Иван. – Как теперь будем решать эту задачу, Сережа?

– Волисполком, я думаю, должен собраться и утвердить все прошлые аресты, если согласен с ними. Нужно перечислить всех арестованных поименно и против каждого имени – указать, за что.

– Причина у нас одна: за злостное противодействие декрету о продразверстке, – сказал Иван. – Других причин у нас пока нет.

– Так и запишите.

– Так и запишем, – повеселел Петров. – Век живи – век учись. И даже мне боязно, что дураком помру.

Сергей приехал не только за тем, чтобы дать им начала юридической грамоты. Была у него и другая цель. На пригородных дорогах, сказал он Ивану и его дядьке, пошаливает банда. С городским уголовным миром она связана через барыг, кое-какие следы ее сейчас нащупываются в известных губрозыску малинах, но банда не уголовная, а ярко выраженная кулацкая.

– Банда грабит продовольственные обозы. Вы сколько их отправили в город, Иван Гаврилович? – спросил Сергей.

– Сережа, да зови ты меня, ради бога, по имени! – сказал Елдышев. – А то я прямо дедом себя чувствую.

– Стесняюсь я, Иван Гаврилович... Ваня... – Сергей запылал.

Тогда, на крыше хлебного состава, потерявшись от страха (что уж теперь скрывать-то, горько думал он о себе), Сергей слушал только приказы Елдышева, бежал, куда надо было бежать, стрелял, в кого надо было стрелять, и только благодаря этим приказам, благодаря тому, что их надо было выполнять и на другое не давалось времени, Сергей и остался, как сам считал теперь, человеком.

– Ваня, – сказал он и прислушался, словно не веря себе, и повторил радостно, жарко: – Ваня! Я тебе не только жизнью обязан, ты это знай. Я за тобой, Ваня, пойду в огонь и в воду.

– Вот и хорошо, вот и ладненько, – сказал Вержбицкий, чем и помог обоим в их смущении. – Дружите, сынки. Живете вы опасно, душу на замке держать вам не след. А то мой Ванька – ну ни с кем... Хоть бы девку завел, что ли?

– А когда? – теперь уже по-иному смутился Иван.

– Когда... Умеючи, найдешь когда.

– Кончай, дядька, свою погудку, – строго сказал Иван. – Три обоза отправили мы в город, Сережа. И все дошли благополучно.

– В том-то и дело. Но на той же дороге были разграблены два обоза, шедшие из соседних вам сел. Может быть, это случайность, что на ваши не нападали? А может быть, и нет... Вам фамилия Болотова ничего не говорит?

Им эта фамилия кое о чем говорила. Старик Болотов сидел сейчас в камере, дозревал до необходимости сдать излишки... Семейка была в такой же силе, как и Точилины. Но вся семья была налицо, никто из Каралата не отлучался, о чем Иван и сказал Сергею.

– Ан и не так, – поправил его дядька. – Один из Болотовых, Николка, как отлучился из села года четыре назад, так и с концами. Оторва был...

– За тем я и здесь, – сказал Сергей. – Кое-что уточнить надо.

Разговор этот произошел в первый день приезда Сергея. А вечером того же дня Иван познакомил его в нардоме с Антошкой Вдовиным. Вдовины по богатству своему шли чуть позади Болотовых, молодежь обеих семей дружила меж собой, но Антон Вдовин, презрев классовую солидарность, явно тянул к каралатскому комсомолу. Он согласился помочь Сергею...

Дня через два, уже втемне, Антошка приполз к землянке Вержбицкого. Иван с Сергеем втащили его и ахнули. Лицо парня превратилось в кровавое месиво, сельский фельдшер, за которым сбегал Вержбицкий, переломов, к счастью, не нашел, но избит Антон был чудовищно. Антошка силился что-то сказать и не мог.

– Кто тебя? Кто?

– Ф-фи-и-иль-ка-а... – вышептал наконец парень. Из ротовой щели его выползал зуб. – Со-о-ба-ачий... у-у-уло-ок... Там!

Иван выпрямился растерянно. Ни у Болотовых, ни у Вдовиных никаких Филек-Филимонов не было. И не было в Каралате Собачьего переулка. Что-то тут не так. Он снова склонился над Антоном:

– Кто тебя? Родные братья? Или же братья Болотовы? – И, заглянув в его кричащие глаза, Иван может быть впервые в жизни понял, что наигорчайшая из мук – мука непонимания.

Сергей отвел Ивана в сторону и сказал, что Филька – это домашнее женское имя, а полное и правильное – Фелицата.

– Нет у нас таких имен. У нас в Заголяевке – два Филиппа, в Бесптановке – три Филимона, Фелицат нету. Отец Анатолий дурацких имен при крещении не давал.

– У вас нет, у нас, в разработках, Фелицата имеется. Она бандерша. Ваня! Надо в город. Немедленно! Где хочешь, как хочешь, а достань хорошего коня.

Они отвезли Антона в больничку, двум своим милиционерам Иван приказал сторожить парня до своего приезда. Фельдшер вручил Ивану длинный список лекарств и перевязочных материалов. Иван заглянул в него, спросил:

– Это все для Антона? Неужели так плох?

– Это все и вам пригодится, – сказал фельдшер. – Мне достать негде.

Сергей вынул список из рук Ивана, сказал кратко:

– Моя забота.

Простились с Антоном и пошли к Андрею Васильевичу Петрову. Легкие санки и лучшего коня дал им тогда предволисполкома Петров. Ночью они были уже в городе.

## Глава тринадцатая

А в третьем часу ночи по Собачьему переулку шел человек, пьяненький, но очень хорошо одетый. Над миром неистовствовала луна, и Ленька Шохин, стоя в подворотне на стреме, отлично разглядел, какое богатство плывет ему в руки: дорогая шуба, шапка-баярка, добротные валенки. «Ах, фраерок, – возликовал Ленька, – фраерочек ты мой, фраерок... Сниму все!»

Ленька ликовал, а пьяный гражданин, наоборот, страдал беспросветно.

– Зачем, зачем? – плакался он, выписывая кренделя на снегу. – За что? Подлая, грязная! Убью! У-у-у... – взвыл он и, запрокинув лицо, стал плевать на луну. – Вот тебе, вот! Мальчик, где ты?

Мальчик совсем не входил в Ленькины планы. Какой еще мальчик? Ленька высунулся из укрытия, мальчика не увидел, зато сам был замечен. Обманутый подлой и грязной женщиной дурачок, радостно лепеча: «Тетушка, позвольте вас спросить?» – кинулся к нему, как к родному. Лучшего и желать было нечего. Зная по опыту, что сильно пьяных пугать бесполезно – не испугаются, а шуму наделают, Ленька шагнул навстречу, занес финку для удара рукояткой... Но ударить ему как-то не пришлось. Рука была схвачена, черное дуло пистолета присосалось к той ямочке у основания шеи, где у каждого человека, даже у жулика, беззащитным комочком бьется душа, и пьяный трезво сказал:

– Не шали, Леня... Брось, финку.

– Я не шалю, – глупо ответил Леня и выронил финку в снег. Тогда рука, цепко державшая Ленькино запястье, ослабила хватку, скользнула к предплечью и улеглась на Ленькином затылке. На руке, между прочим, не хватало мизинца – почему-то именно это обстоятельство и помогло Леньке постичь смысл происшедшего.

– Спалился... – горестно прошептал он.

Непостижимым образом – откуда бы? – около Леньки возникли еще трое. Через минуту он связанный лежал под забором. Беспальный снял шубу, осторожно свернул ее, положил рядом. «Пригляди, – шепнул он, – чтоб не сперли... Казенная!» Под шубой на нем оказался поношенный ватник, шею прикрывал шарф. Рядом с Ленькой лег кто-то, это был инспектор губрозыска Тюрин – и тихо сказал:

– Брехать не советую, парень... Кто в доме?

Ленька торопливо перечислил имена. Затем между ним и Тюриным состоялся короткий разговор вполшепота, после чего Ленька пискнул:

– Не буду, гражданин начальник. Не могу. Свояк, Расчихнаев, убьет!

– Что значит – не могу, Шохин? И что значит – убьет? Убивать нас будут. Ты из банды целеньким вышел. Пока... Ну? Твой последний шанс!

Был беспросветно нищ Собачий переулок. Горластые псы, которыми когда-то он славился, покинули людей, потому что люди начали их есть. Домишки, кухни, сараюшки, баньки лепились друг к другу, образуя кривые переходы, закоулки и тупики, в которых легко спрятать и спрятаться. Не закрытые на ставни и болты окна бесстрашно глядели на мир: нужда оберегала их надежнее запоров. Неистовый лунный свет, блеск снега и тени на снегу – резкие и черные, словно ямы. Ни звука, ни шелеста, ни движения, все мертво... Елдышев подивился тому, как неслышно работают люди Тюрина – они занимали сейчас подходы к дому. Иван помнил Тюрина по хлебному составу, но смутно: Тюрин был там всего лишь вторым номером у Багаева за пулеметом, молчаливый, невидный человек с мужичьим топорным лицом. А здесь, в губрозыске, он оказался начальником целой бригады, и Сергей шепнул Ивану, что в скором времени Тюрина назначат, видимо, заместителем начальника губрозыска. Назначат или не назначат, но нынешний начальник бригады дело свое знал хорошо. Пока Иван вываживал коня,

поил и ставил его в конюшню губрозыска, Тюрин успел поднять бригаду, обдумать операцию, каждому объяснить его место. Иван попал лишь к концу инструктажа, сел в уголок и, осмысливая отдельные слова, замечания, вопросы, понял, что о Болотове бригада уже многое знала и что они с Сергеем привезли недостающее звено. Сейчас люди Тюрина занимали подходы к дому, Иван не видел их, ухо не воспринимало даже скрипа на снегу, но в какое-то очень четкое мгновение он сказал себе: вот наконец все! Тюрин, стоявший рядом, расслабился, – значит, и он уловил это мгновение.

Свояк Леньки, Расчехняев, бандит отпетый, появился на крыльце внезапно – дверные петли в доме были надежно смазаны. Он постоял, прислушиваясь, и тихо засвистал. Тюрин повел пистолетом в сторону лежащего Леньки, и тот ответил условным свистом. Но на какую-то долю секунды он промедлил, и этого оказалось достаточно, чтобы насторожить Расчехняева.

– Своячок! – поплыл с крыльца низкий угрожающий голос. – Топай ко мне!

– Тихо ты, не базарь, – обмирая, выругался Ленька. – Не могу я подняться, маячит кто-то...

И то, что он выругался, и то, что приглушенный его голос действительно поднимался с земли, и то, что калитка была полураскрыта именно так, как была полураскрыта, и то, что в тесном дворике, застроенном клетушками и амбарушками, снег по-прежнему оставался девственно чист, не запятнан человеческими следами (содержательница квартиры тетка Филька получила строгий наказ Болотова не шастать по двору как попало, а ходить по одной тропе: от крыльца к калитке и вдоль забора – к уборной), – все это в какой-то мере успокоило Расчехняева, притушило вспыхнувшее было подозрение. Но даже в этом случае он никогда бы не сделал того, что сделал сейчас. Он подскочил к калитке, нырнул в нее и, выйдя на удар Елдышева, мягко сунулся лицом в снег. Он был пьян, Расчехняев, и это погубило его.

– Ну? – тихо сказал Тюрин, когда бандит был связан и рот забит кляпом. – Пошли!

Они гуськом поднялись на крыльцо – Тюрин, Елдышев, Гадалов, Космынин. Хорошо смазанная дверь опять открылась бесшумно. Где-то недалеко от другой двери, что вела в горницу, должно лежать на боку пустое ведро, о котором предупреждал Ленька. Тюрин нащупал его руками, поставил в сторону, мельком подумав, что Расчехняев хоть и был пьян, а сумел не стронуть его. Вторую дверь он открывал так, как должен был открыть ее, вернувшись, Расчехняев: не осторожничая, но без лишней торопливости, по-хозяйски. И этим Тюрин сберег несколько секунд, в течение которых сидящие за столом бандиты видели вошедших, но не могли от неожиданности осознать происходящее. Это был тот, не раз проверенный Тюриным на практике случай, когда видит око, а ум неймет...

А Ленька, лежа под забором, слышал, как четверо вошли в холодные сени, как во двор хлынул хмельной гул голосов, – это Тюрин открыл внутреннюю дверь. Несколько мгновений, которые он сберег неожиданностью своего появления, стояла во дворе томительная, почти смертная тишина. Затем в доме бухнуло два или три раза. «Господи, – взмолился Ленька, сделай так, чтобы Болотова убило, а из ихних чтобы никого...» И объяснил богу свою странную просьбу: «Срок я тогда возьму тяжелый, а у меня баба молодая, скурвится». Но, вспомнив о Болотове, Ленька вспомнил о свояке, глянул на него. Свояк подползал к нему. Сейчас ляжет грудью на Ленькину грудь, вонзят зубы в горло...

– А-а-а!... – заорал Ленька и бревном покатился прочь, оставив ни с чем менее сообразительного свояка. – Спаси-и-те!

Расчехняев мычал, в исступлении разбивая подбородок в кровь.

Сергей Гадалов нашел Леньку метрах в пятидесяти от дома. Он не выразил по этому поводу никакого удивления, только попенял:

– Тебе что было сказано? Шубу караулить... А ты?

– Шубу... – всхлипывал Ленька. – Пошел ты со своей шубой! Свояк чуть мне горло не перегрыз!

– У него же кляп во рту, – сказал Сергей, вспарывая ножом веревку, которой были связаны Ленькины руки и ноги. – А ты, гляжу, сильно чувствительный, Леня. Жить хочешь, зачем в банду тогда полез?

– А Болотов? – с надеждой спросил Ленька.

– Жив твой Болотов.

– Ну бог, ну фраер! – горестно воскликнул Ленька. – Пришьют они теперь меня!

– Отпришивались, – успокоил его Сергей. – Им до трибунала только и осталось дышать. Ты нам помог, тебе суд зачтет. А после суда, мой тебе совет, просись на фронт. Кровью смоешь свою подлость перед Республикой – человеком станешь.

– На фронте тоже убивают, кореш!

– Я тебе не кореш, – строго сказал Сергей. – Ишь ты, пряткий! Я тебе, дураку, совет дал, а там – гляди сам.

## Глава четырнадцатая

Сергей проводил Ивана до городской окраины. Вышли из саней и, стеснительно помедлив, обнялись.

– Поклон дядьке, – сказал Сергей. – Хороший он у тебя старик, Ваня. Жил я у вас, как у родных. Вот, – засмутился он и сунул в карман Иванова полушубка пачку махорки, – подарок ему передай.

Иван дернулся было, но, увидев лицо парня, сказал ворчливо:

– Зря балуешь.

Сергей рассмеялся.

Всего-ничего прожил Гадалов у Елдышева с Вержбицким, а без него изба словно опустела. Дядька слонялся из угла в угол, нещадно дымил дареной махорой, вздыхал.

– Знамо дело, нехорошо каркать, – вдруг сказал он, – а чую, Ваня: жить нам недолго осталось. Страха нет, но сердцем томлюся.

– С непривычки, – успокоил его Иван. – Я как попал в окопы, так первое время и жил тем: убьют, убьют... Ничего, задубел. И живой, как видишь.

Той же ночью в Ивана стреляли. Пуля на излете задела грудную мышцу и тупо ударила в забор. Иван взял ее из доски теплую. То ли пугают, то ли сами еще боятся, подумал он. Сплющенный кусок свинца, рубленный дома, мог бы свалить и кабана, окажись стрелок поближе и пометче.

– А ты говоришь – с непривычки, – ворчал дядька, разрывая чистую тряпку на бинты. – Хороша привычка... Нет, мое сердце не обманешь. Помню, как попасть на льдах в относ, так сердце колет, колет... Ну, мужики, говорю, сегодня быть беде. Тем и спасались.

Иван вспомнил, как они однажды спасались, улыбнулся, но перечить не стал. Давно это было, словно в другой жизни и не с ним. Жив ли тот земсковский жеребец, что плакал, лежа брюхом на льду? Посмотреть бы на него, вдохнуть запах пота, унести в свою юность... Ивану двадцать шесть лет, а восемнадцатилетние зовут его по имени и отчеству, словно отрубая себя от него. Что ж, Иван старше их на целую войну. Она тяжким грузом лежит на его плечах, а еще – признаться стыдно! – ни одна девка не целована, о прочем же и подумать страшно – дыхание перехватывает злая мужская тоска. Батя наградил несмелым характером, хоть умри.

А хлеб тек...

И дни текли...

Каждый пуд хлеба учитывал Иван, а дням своим учета не вел. Мало их осталось, но не крикнешь, не предупредишь – почти 100 лет пролегло меж нами... И счастлив тем человек, что не ведает своего смертного часа, что до последнего глотка воздуха и удара сердца с ним живут его надежды и тверды думы его и труды.

В одну из последних своих ночей Иван проснулся, казалось, беспричинно. Дядька мирно посвистывал носом на топчане. Но нет, причина все-таки была. Иван спал сторожко, во сне и услышал, как кто-то проскакал наметом мимо землянки на хорошо подкованном коне, дробившем подмерзшие лужи со звоном. Он вспомнил об этом, когда очнулся как следует, но встревожился не сильно. Каралат на ночь не оставался без вооруженной охраны. Охранялся волисполком и каталажка Ивана, где дозревали его подопечные, у военкома в подчинении было три красноармейца, они поочередно охраняли арсенал, куда коммунары сдавали винтовки после учений, а сами коммунары выставляли свою охрану к деннику для лошадей и на баз для скота.

Городской гонец не останется незамеченным, утром Ивану доложат, проскакал ли он через весь Каралат, направляясь в другие села (так уже и не раз бывало), или же заворачивал к кому-то из местных. Не сильно встревожился Иван, но встать, выйти, послушать и посмотреть все-таки надо. Накинув шинель, он вышел на крыльцо.

Стояла туманная мартовская ночь, зима умирала... Под легким морозцем рождался иней и украшал землю, безразличную к людским тревогам и скорбям. Иней пал на шинель Ивана, оросил волосы. Он не ощущал этого и о своей легкой тревоге забыл. Подняв голову к небу, он зачарованно видел и слышал, как умирает зима. Низко, почти над самыми крышами, трубили, пролетая, гусиные станицы. Ивану казалось, что могучее крыло сейчас ударит и развалит его надвое, он инстинктивно вжимался в дверь. Чуть выше со снарядным свистом пронеслись утиные стаи, рыдали какие-то странные одиночки-птицы, унося свою скорбь неведомо куда. Высоко в небе тоскующе и звонко перекликалась казара<sup>1</sup>. А еще выше, где небо было чисто от испарений земли, где меркли хладные синие звезды, – оттуда падали особые, неповторимые, пронзающе-серебрянные лебединые клики, от которых в непонятной печали содрогалась Иванова душа. Продрогший, измученный неведомой и сладкой мукой, он возвратился в горницу, спросил тихо:

– Спишь, отец?

Так получилось, впервые назвал этим словом дядьку. И не пожалел об этом. Он вдруг богат стал, дарить хотелось...

– Нет, не сплю, сынок, – растерянно отозвался дядька. – Вань, а я тебе и есть крестный отец. Не раз хотел назвать тебя сынком да никак не решаюсь.

– Что ж так? – лукаво спросил Иван.

– Вина моя перед тобой, – сказал Вержбицкий, – отдал тебя попу. Ты на меня за это зла не держи.

– И в мыслях не было, – рассмеялся Иван. – Выдумаешь, право... Да и попу, ежели рассуждать по-человечески, надо было бы мне хоть одно благодарное слово сказать, когда хлеб изымал и из дому его вытурял. Все-таки с восьми и до пятнадцати лет жил у него, церковно-приходскую школу на его хлебах закончил, из его библиотеки не вылезал.

– Что ж не сказал?

– Классовая стенка не позволила, – ответил Иван. – Кстати, где он? Живой? На сердце жаловался, меня чуть не разжалобил.

– В городе он. С попадьею и со всем ее кильдимом. У него и там дом свой имеется. Все он, Ваня, знал, и все он предвидел. Голова!

– То-то и оно-то, – хмуро сказал Иван. – Ничем их, захребетников, не проймешь.

---

<sup>1</sup> Казара – казарка, малый дикий гусь.

## Глава пятнадцатая

Вот и пришел тот мартовский день, когда в городе вскипел контрреволюционный мятеж. Советская власть там на короткое время пошатнулась, а здесь, в богатом Каралате, она пала, потому что здесь коммунары все-таки были в меньшинстве...

Приказ № 10 от 27 марта 1919 года по Астраханской губернской милиции

В дни кулацкого контрреволюционного восстания в Каралате начальник волостной милиции Иван Гаврилович Елдышев, отбившись от кулаков и подкулачников, вбежал в землянку и оттуда отстреливался. Озверевшая толпа, подстрекаемая разной черной сволочью, видя, что тов. Елдышев героически защищается, облила керосином землянку, подожгла ее, и Елдышев был сожжен живым, но не сдался. Так погиб верный сын трудового народа.

Сожалея о столь мученической смерти тов. Елдышева, я глубоко убежден, что среди товарищей милиционеров найдутся еще и еще сотни таких же преданных великому делу революции, за которую гибнут каждый день лучшие сыны пролетариата.

Нач. губмилиции И. Багаев

Вержбицкий не служил в милиции, поэтому в приказе о нем ни слова не было. Но Иван отстреливался не один, а вместе с дядькой.

Перед землянкой в весенней грязи мертвыми комками лежали три человека. Двое были из точилинского выводка. Дед Точилин глухо выл за углом землянки напротив, потом вышел, выстрелил из нагана и, пошатываясь и продолжая стрелять, побежал к разбитому окну, за которым стоял Вержбицкий. Иван Прокофьевич свалил его последней пулей, бережно поставил винтовку к стене, сказал:

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.